



**Арте
Факт
детектив**

Сгорел дом, измелчало озеро,
на берегу которого он стоял,
но жива легенда о русалке
и черной книге, которую та хранит...

ЕКАТЕРИНА ЛЕСИНА

**Чёрная
книга
русалки**


ЭКСМО

Екатерина Лесина
Черная книга русалки
Серия «Артефакт-детектив»

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=249272
Лесина Е. Черная книга русалки: Эксмо; Москва; 2009
ISBN 978-5-699-38865-3*

Аннотация

Встреча с русалкой определила и жизнь Микитки, и его смерть – он остался в памяти людской колдуном, человеком, принесшим на землю зло, учеником Якова Брюса, знаменитого алхимика времен Петра Первого. Сгорел дом Микитки, измельчало озеро, на берегу которого он стоял, но сохранилась легенда о русалке и Черной книге, которую та хранит... Ольга, проводившая лето на даче, легендам не верила, русалок не признавала, а о Черной книге и вовсе не слышала. Но когда на берегу озера случилось первое, а потом и второе убийство, ей пришлось задуматься: а вдруг русалки существуют на самом деле, как и Черная книга Якова Брюса...

Содержание

Часть I	4
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Екатерина Лесина

Черная книга русалки

Часть I

По воде, догоняя и поторапливая друг друга, побежали круги. На черной, точно шелковой глади озера они казались белыми, ровными, будто вычерченными циркулем. И это было неправильно. Сам сон был неправильным, но Лизавета привыкла.

Она снова шла, нащупывая ногой земляной гребень, снова боялась оступиться и, потеряв равновесие, рухнуть в одну из ям справа или слева. Теперь, во сне, они снова оживали, наблюдая за Лизаветой, за тем, кто шел следом, сотнями слепых, рыбьих глаз.

И закричать бы, вырваться из липкой паутины, скинуть мокрую рубаику, что прилипла к телу, замедляя шаги. Но из сна не убежишь. От того, кто шел по следу, тоже не скроешься.

Серп в руке, сажка на лице, всклоченная борода и ласковая улыбка. Сумасшедший!

– Лиза, Лизонька, не убегай!

Озеро глушит голос одним тяжелым вздохом, вода подымается и, как когда-то, накрывает его с головой.

– Лизонька!

– Елизавета Никитична, Елизавета Никитична! – зов извне, настойчивый и испуганный. Пятно света, желтого, масляно-робкого, прогоняет темноту. Лизавета заслоняется ладонью и просыпается, привычно удивившись, до чего ярким вышел сон. Неправдоподобно ярким.

Впрочем, как всегда.

– Ох, Елизавета Никитична. – Компаньонка поставила лампу на стол и, вяло зевнув, повторила: – В церковь бы вам, к батюшке, помолиться да душу облегчить. А то и на поклон съездить, я слышала, что под Новгородом, в лесу, схимник обитает, святой человек, который...

За окном ветер шумит, скользят по стеклу отсветы лампы, точно огненные сполохи по небу. И думается о том, что не к святому ехать, ища свободы от прошлого, а домой вернуться надо.

Домой. Ей ведь давно хотелось, очень давно, вот только возвращаться некуда.

Разве что ненадолго.

Разве что посмотреть.

Высокий берег, озеро, белые косы песка, облака и сверху, и снизу, под ногами. Старый дом со скрипучими ставнями, нервный и обидчивый, живой, как и все когда-то давно. Тайная комната. Железная русалка. Черная книга...

Смерть.

Нет, не следует возвращаться туда, тем более что нет ни дома, ни книги, ни русалки, но... тянет.

– Шурка, помолчи, – велела Лизавета. Сев на кровати, уверилась, что сон еще долго не придет, и предложила: – Хочешь, историю расскажу?

Компаньонка хотела только спать, и желание это явственно отразилось на круглой ее физиономии. В облике Шурочки все тяготело к отдохновению: мягкие подушки щек, припухлые веки со снулыми, бестолковыми глазами, широкий рот, привыкший кривиться, глотая зевки, или же, когда Шурочка впадала в дремотную мечтательность, неприлично разеваться.

Ну и пусть, глядишь, ничего и не запомнит, а Лизавете выговориться надо.

– Давным-давно жил на свете алхимик и чернокнижник... нет, сначала он не знал, что он – алхимик и чернокнижник, это был самый обыкновенный мальчик, которому выпало рано осиротеть...

В Шурочкиных глазах тотчас заблестели слезы. Жалостливая.

– Но однажды случилось то, что изменило всю его жизнь. Мальчик встретил русалку.

Озеро Мичеган на самом-то деле и озером сложно было назвать, так, озерцо, а то и вовсе – обыкновенная лужа, по берегам поросшая рогозом, выметывавшим по осени высокие коричневые свечи, да густым, ломким ивняком. По весне и осени, набравшись дождей, оно расплзлось темною, смердящей водой, а летом высыхало, оставляя на берегах путанные комки ряски, которые местные бабы звали русалочьими волосами. В общем, ничего-то необыкновенного, кроме названия.

Насчет него имелось несколько версий, среди которых нашлось место и излишне романтичному паничу, мечтавшему переселиться в Америку, и американскому шпиону, утопленному в одной луже где-то в конце тридцатых, и упившемуся до помутнения разума чинуше из района, который и превратил «Мичеганово» в «Мичеган». Где правда, неизвестно, да и мало кого она интересовала, эта правда. Было себе озеро и было, лежало меж четырех деревень, не то разделяя и разграничивая, не то, напротив, объединяя. Гоняли к Мичегану коров, носили белье полоскать, топили жуков колорадских да и просто посидеть приходили, поорать песни, посплетничать, рассказать, послушать, обсудить... да и мало ли дел?

Шло время. Закрылся, обанкротившись, молочный заводик в Хитровке, разорились и фермы в Калючах, поросли каменными дачами Стремяны, отгородились заборчиками, оштетинились видеокамерами, наполнились жизнью иной, чуждой и порождающей зависть. И только Погарье на первый взгляд осталось прежним: две перекрещенные улочки, старые, но крепкие и аккуратные домики, сельпо, почта и даже библиотека, впрочем, не работающая. Перемены пришли в Погарье в последние годы, когда разросшийся дачный поселок переметнулся через темные воды Мичегана, оставив на другом берегу первый из домов: нарядный особнячок в два этажа с кокетливым балкончиком и двумя пухлыми колоннами на фасаде.

– Навор-р-ровали, сволочи, – сказал дед Нестор, сплевывая в сторону особнячка. И окурок швырнул и, наступив изношенным берцем, втоптал в размякшую по дождям землю. – Наворовали, а теперь строятся.

– От все б вам, дядьку, чужие гроши посчитать. – Клавка, привалившись на подоконник, разглядывала ногти. Хороши – длинные, заостренные, покрытые глянцевым красным лаком и намертво прилепленные суперклеем. – Может, они заработали.

– Ага. Заработали. Как же. На твоём, дура, горбу...

– От скажете тоже.

– А то и скажу! И скажу! – Дед завелся, поднял клюку и грозно потряс в воздухе. – Я таких-от стрелял! К стенке и без жалости! Слышь ты? Без жалости!

Клавка только повела плечами. Ни одному слову она не поверила, потому как все в Погарье знали, что служил дед Нестор в стройбате, винтовки отродясь в руках не держал, а уж убить кого... он же и кур резать соседа зовет, от вида крови дурнеется ему.

– Ладно, дурында. – Дед успокоился и, сунув в зубы сигарку, велел: – Тушенки дай. И карамельков. Барбарисовых.

Можно подумать, он когда-нибудь покупал другие. И вообще, мог бы для приличия и в магазин зайти, а не через окно орать. Но Клавка ругаться не стала, сегодня она пребывала в настроении радужном и портить его не имела желания.

Она поднялась, потянулась, упершись руками в поясницу, смачно зевнула, чихнула и медленно направилась в глубь магазина. Узкое помещение, загроможденное у левой стены

ящиками, словно бы разделялось на две половины. Ближе к выходу, там, где стену прорезало огромное, забранное снаружи решеткой окно, было светло, плавали в воздухе пылинки, то подымаясь к потолку, то забиваясь в углы серыми легкими комками уже не пыли, но пуха; натужно стрекотал одинокий сверчок. Ближе к подсобке, где стояли ящики с тушенкой, царили сумерки, а в углах и вовсе темнота. Шебуршали мыши, тускло поблескивали кругляши кошачьих глаз, пахло подгнивающей капустой и бражкой.

Клавка на ощупь нашла нужный ящик, вытащила две банки и с непредставимой для ее объемов поспешностью вернулась в торговую залу. Сыпанула на весы потекших на жару карамелек, походя отметила вес, прибавив привычные двадцать граммов, и сгребла барбариски в кулек из оберточной бумаги.

– Дядька Нестор, – крикнула она. – Платить как будешь? Деньгами или на книжку писать?

Другому так и вовсе не предлагала бы, но дед Нестор – сосед, да и молоко со скидкой продает, а потому...

– Дядька Нестор!

Не ответили. Клавка начала злиться. Что за неуважение такое? Можно подумать, у нее делов других нет, кроме как глотку драть.

– Эй! – Она шлепнула на подоконник банки. – Забирай! С тебя...

Клавка замолчала, сообразив, что под окном никого нет. Вот ведь странность. Куда он мог подеваться? И тушенки не дождался, и карамелек... вообще он никогда прежде так себя не вел.

Случившееся заняло Клавкины мысли минут на пять, после они переключились на стрелку часов, добравшуюся наконец до цифры «три», на грядущий вечер, свидание, каковое обещало серьезные перемены в Клавкиной жизни, и снова – на ногти. Уж больно хороши, и не скажешь, что накладные.

Место для засады Гришка выбирал тщательно, не поленившись провести рекогносцировку местности, во время которой заприметил густой малинник, весьма и весьма подходящий для его целей. Прямо посеред кустов росла яблонька-дичка, невысокая, но разлапистая, с пышной кроной да крепкими, перевитыми между собою ветвями. Под нее-то Гришка и притащил сначала табуретку, потом покрывало, вытасченное из жениных запасов, а к нему и махонькую, ничемушную подушечку. Прикрыл добро куском брезента, чтоб не замочило по дождю или росе, и все равно целую ночь ворочался: а ну как заприметил кто? Но нет, вроде спокойно. По утру стлалось в вышине блеклое небо с драными облаками и кругляшом солнца, разливались жаворонки, стрекотали кузнечики, жужжали пчелы.

Откинув брезент, Гришка приставил табурет к яблоньке, поплевал на руки и ловко, вспоминая прошлые боевые годы, ухватился за ветку.

Скользкая, падла! И лишайником густенько поросла. Ну ничего, раз, другой, третий... хекнув, Гришка подпрыгнул и неловко заскреб сапогами по древесной коре, уцепился за сучок, завис на долю секунды, отдыхая, а потом-таки сдюжил, взобрался.

– То-то же, – сказал он неведомо кому. Поправил съехавшую было кепку, подаренную женой на двадцать третье февраля, поскреб живот и, устроившись поудобнее, достал бинокль.

Тот был хорош, немецкий, трофейный, еще дедом Гришкиным с Берлину привезенный, тщательно оберегаемый, хотя в Погарье раньше совсем и не нужный. До сегодняшнего дня.

Гришка снова поерзал, перекинул ремешок через шею, ухватился обеими руками за ветку повыше. Приподнялся, уперся ногой в развилку да вскарабкался еще.

– Ото ж! – радостно прогудел он, устраиваясь меж расходящихся натрое ветвей. – Буде вам... от и буде.

А и впрямь хорошее место: слева, отгороженное штакетником рогоза, расстилается озеро, справа уходит в горизонт поле, прямо по курсу – дачи. Впрочем, они интересовали Гришку постольку поскольку, и бинокль он притащил отнюдь не для того, чтоб архитектурными изысками любоваться. Нет, мечтал он об ином, давно мечтал, всю зиму и весну, а теперь вот решился.

– Ну еж твою... – первый двор был пуст. Сквозь тонированные стекла даже дедов бинокль с многократным увеличением не мог проникнуть. Подавив разочарование, Гришка переключился на второй объект. Тоже пусто. На третьем забор высок. И на четвертом...

На пятом, на той, ближней, даче наконец повезло. Развалились прямо перед домом, постеливши на газон белое с синим покрывало, вот Гришкина супружница в жизни не позволила б такое об траву пачкать, а эти лежат, книжки читают, черешню едят да в ус не дуют. А Гришка за ними смотрит.

– Ох ты етить... – крикнул он от удивления, спугнув серо-желтую пичугу, приткнувшуюся веткой выше. А что, дамочки-то хороши, аккурат как Гришка себе и представлял. Одна худая, чернявая, ну чисто цыганка, правда, физии не разглядеть – очки нацепила в пол-лица, зато все остальное прям как на картинке. Купальник на девице красненький, срамной – три треугольника ткани да пара веревочек, на боках бантиками завязанных.

– Э-э-эх, – вздохнул Гришка, представив свою благоверную в таком. Стало грустно. Поэтому он поспешно переключил внимание на вторую девицу. Та лежала на боку, повернувшись к подруге и Гришке спиной, но через бинокль были видны и каштановые, собранные в узел волосы, и золотая цепочка на шее, и впившиеся в белую кожу лямки бюстгалтера, и сдобные круглые ягодицы, и даже царापина на лодыжке. Дамочка перевернулась на спину, потянулась... а черная привстала и принялась возиться с бантиками на боках. Неужто снимет?

От волнения в горле пересохло, руки вцепились в бинокль, а Гришка мигом перестал обращать внимание на происходящее вокруг. Оказалось, зря: щеку вдруг полоснуло огнем, да так, что прям перекривило всего, Гришка дернулся, хлопнул по физии, добивая пчелу, и от резкого движения рухнул вниз.

– Твою ж... – повторил он, с кряхтеньем подымаясь из малинника. Плечо ныло, руки покрывала мелкая сеточка царапин, а щеку треклятую так и дергало, да и зуб, который он с прошлого года залечить собирался, враз о себе напомнил. Но бинокль был цел, яблоня стояла, манила, обещая зрелище, каковое, может стать, он никогда больше увидеть не сподобится. И Гришка, преодолевая боль, полез обратно: по второму разу это оказалось легче, и он, ободренный неожиданной, пусть и совсем махонькой удачей, с упоением принялся обшаривать взглядом дворы.

Пусто, пусто, пусто... покрывало лежит, миска с черешней тоже, книжка вон обложкою вверх. А дамочки где? Где дамочки? В дом убрались? Обида и разочарование затопили Гришку с головой, он почти было убрал бинокль, когда...

Он сразу-то и не понял, что именно увидел. А сообразив, разом позабыл и про плечо, и про щеку, и про зуб. Он смотрел, открывши рот от ужаса, не смея шелохнуться, проклиная себя за тот день, когда в голову вообще такая мысль – подглядеть за дачницами – пришла. Потом же, когда первая немота немного отпустила, Гришка, сам не помня как, скатился с яблони, ломанул через малинник напрямик к Погарью. Выбежал к сельпо и, задыхаясь от бега и пережитого ужаса, ухватился за подоконник и заорал прямо в удивленное Клавкино лицо:

– Убивают! Там человека убивают!

– Опять нажрался, – ответила Клавка и предупредила: – В долг не дам.

Гришка лишь рукой махнул – ну ее, дуру – и повторил:

– Там это... того... человека убивают. На дачах. Сам видел!

Схватился было за бинокль и только сейчас осознал, что нету его, потерялся. Дедов, немецкий, трофейный, из самого Берлина привезенный. Потерялся. Вот просто так взял и потерялся, бросил Гришку...

– Теть Оль, меня мутит. – Ксюха, вытянувшись на покрывале, упала лицом в книжку. И глаза закрыла в знак протеста перед насилием, которым, по ее мнению, являлся этот самый том, толстый, нудный, но определенный школьной программой.

Ольга не дрогнула. За прошедший месяц она успела изучить Ксюхины уловки и, более того, привыкнуть к ним. А потому лишь пожала плечами, подвинула бутылку с минералкой, сказала:

– Воды попей.

– Не хочу, она теплая.

– Сходи и возьми холодной.

– Горло заболит.

– Тогда пей теплую.

– Ой и нудная же ты. – Ксюха, ухватив губами страницу, принялась методично жевать. Надеялась ли она таким способом постичь тайный смысл произведения, либо, что гораздо вероятнее, попросту убивала время, но в любом случае занятие это, впрочем, как и все Ксюхины занятия, раздражало. – Я знаю, почему маман именно тебя выбрала. Чтоб я с тоски загнулась...

Она вдруг села, икнула, ряззавив рот, и пробормотала:

– А теперь меня в натуре мутит.

В следующее мгновение Ксюху вывернуло, прямо на травку, на одуванчик и прикорнувшую на нем божью коровку. В довесок в Ксюхином животе заурчало, и Ольга обреченно прикрыла глаза: грядущие три месяца совместного проживания в такие минуты виделись ей вечностью.

Дело было даже не в Ксюхиной вредности, избалованности и врожденной истеричности, а в ее интересном положении, обыкновенном, в общем-то, для женщин, однако совершенно неприемлемом для десятиклассницы. Впрочем, десятый класс Ксюха с горем пополам, но закончила.

Началось все в конце апреля. В половине второго ночи звонок в дверь вытащил Ольгу из кровати. Она не удивилась и даже возмущаться не стала: накинула халат, нашла тапочки и пошла открывать. Ну да, Юлька – она такая, ей плевать и на время суток, и на чужие неудобства.

– Привет, родная, это тебе. – Юлька ввалилась в прихожую с ворохом пакетов, которые кинула прямо на пол, туда же полетели коротенькая шубка из щипаной норки и шляпка-таблетка с куцей вуалью. – Там, погляди, есть милые вещички. А ты что, уже спишь?

– Уже нет.

– Ну не злись, я ненадолго. – Юлька чмокнула подружку в щеку и, не разуваясь, отправилась напрямиком на кухню. – Кофе свари, а то устала, сил нет. Господи, да ты не представляешь, что случилось! Я сама в шоке! Я в ужасе!

Мощное Юлькино сопрано заполнило пространство, перекрыв и дребезжание холодильника, и мерный стук капель, и солидное пощелкивание старого будильника.

– Нет, это просто кошмар! Кошмарище!

Ольга кивнула – кошмар так кошмар. Ничего нового, ничего неожиданного, вне кошмаров Юлька не показывается.

– Я ей сразу сказала, ты – дура! Идиотка! А она мне в ответ, прикинь: сама ты дура, мамочка!

Соседи снизу застучали по батарее, но просить Юльку говорить тише бесполезно.

– И я на нее столько лет жизни угробила! Молодость свою! Я же для нее ничегошеньки не жалела, из шкуры вон лезу, а эта дрянь...

Все постепенно прояснялось: Юлька снова поссорилась с дочкой и теперь приехала жаловаться. Проговорит с полчаса, выкурит пару сигарет, выпьет кофе и сгинет на месяц-два до очередного скандала.

– И нате вам, мамочка, получите! Я в ее годы и думать о таком не смела, а эта...

Из-под умывальника выплянул таракан и, поведя усами, юркнул назад, прежде чем Ольга успела прицелиться.

– Ну и гадюшник у тебя, – сбавив тон, заметила Юлька.

– Ага, – согласилась Ольга, вполглаза следя за джезвой. Скоро закипит, не передержать бы. И кардамону щепотку, Юлька любит кофе с кардамоном. – Так что у вас случилось?

Юлька вздохнула, выпрямилась, одернула короткий кожаный жилет, расправила плечи и громким шепотом выдохнула:

– Ксюха залетела.

В первые секунды новость застряла где-то среди мыслей о новой отраве для тараканов, каковую непременно нужно купить завтра, о Зое Евгеньевне с третьего, что станет выговаривать за ночные посиделки, о грядущем сокращении, слухи о котором блуждали давно, но в последние дни обросли нехорошими подробностями.

В общем, сообразила Ольга не сразу и даже машинально ответила заготовленную и многожды использованную фразу:

– Ты снова все преувеличиваешь.

– Я?! – возмущенно взревела Юлька. – Я преувеличиваю? Что тут можно преувеличить! Беременная она! Шалава малолетняя! Представляешь?

Вот тут Ольга поняла. И замерла с протянутой к вентелю рукой. Как это беременна? Ксюша ведь маленькая еще. Ей же... ей же и шестнадцати нет? Ну да, через неделю только.

– И сама не знает, от кого, – мстительно добавила Юлька, напрочь игнорируя возмущенный стук снизу. – Ольга, спасай!

– К-как?

– Обыкновенно. Смотри, если она родит, прикинь, что со мной будет? Да меня газетчики на части порвут: Юлия Соловьева – и бабушка. Ну какая из меня бабушка?

И вправду никакая. Бабушки такими не бывают. Только полбеда, что Юльке с виду лет двадцать пять. Но ведь характер...

– Меня ж с дерьмом смешают. – Юлька кинула окурок в чашку с недопитым кофе. – Оленок, я тебя как человека прошу: помоги.

– В-врача, что ли, посоветовать? – спросила Ольга первое, что пришло в голову. Сама ужаснулась собственному предложению, но тут же решительно возразила себе: в данной ситуации это решение оправданно.

– Врача? Ну врача я и без тебя нашла бы. Тут серьезнее все. Эта ж дура Горгоне моей протрепалась, и теперь та, если что, точно со свету сживет. Убийство, видите ли... нет, скажи, за что мне все это?

Ольга не знала. Более того, очень часто она ловила себя на мысли, что стенания сестры вызывают лишь раздражение, и тогда начинала испытывать чувство стыда, пенять себе за то, что не может сопереживать, и понимать, что завидует.

Да, откровенно завидует. И тому, как Юлька выглядит – метр восемьдесят роста против Ольгиных полутора с хвостиком, пятьдесят килограммов веса вместо шестидесяти трех, роскошная смоляная грива, черно-цыганские, бесовские глаза. Завидовала Ольга и одежде, дорогой и эксклюзивной, яркой и смелой, такой, какую она в жизни не решилась бы надеть, и жизни, где было место и гастролям, и концертам, и поклонникам. И бурным романам, какие часто заканчивались скандалами, и статейкам, возникавшим после скандалов...

Юлькина жизнь кипела и бурлила, стреляла искрами и брызгала кипятком, а Ольгина только слабо булькала, время от времени выпуская на поверхность пузыри событий, мелких и не интересных никому, кроме самой Ольги.

Подумаешь, обошли повышением... подумаешь, Маринка из бухгалтерии отпускные неправильно посчитала... подумаешь, начавшийся в прошлом месяце роман, вяленький, но за неимением альтернативы зачисленный в графу «перспективные отношения», увял... подумаешь...

– Вот как подумаю, так прям с души и воротит, – призналась Юлька, подвигая к себе и Ольгин кофе. – В общем, так, Горгону мою ты знаешь, мне с ней по-серьезному зарубаться не с руки, поэтому план такой. Ксюха заканчивает десятый класс, потом ты с ней отправляешься на дачу.

– На какую дачу?

– Обыкновенную. Горгона в каком-то там поселке домик выкупила, к природе ее потянуло... там поживете пару-тройку месяцев, а потом, где-нибудь в сентябре, мы с Ксюхой свалим.

– Куда?

– Да какая тебе разница! Тебя уже это касаться не будет. Мы свалим, а потом появимся и объявим, что это я родила.

– Ты?

– Олька, соображай быстрее. Сколько можно! Я ей русским языком объясняю, а она понять не хочет. Какого черта? Не хочешь помогать, так и скажи. Я к ней как к родному человеку, к единственно близкому, к тому, которому доверяю, можно сказать, почти как себе, а она в отказку. Сложно на природе пару месяцев пожить? Так и скажи, мол, сложно, иди ты, сестричка...

– Юля, успокойся. Я же... я же не отказываюсь. Я просто уточняю, – Ольга запахнула полы халатика, в очередной раз сделав заметку, что надо бы найти пояс. А лучше новый халатик купить, чтобы из индийского шелка и с драконом, такой, как Юлька в прошлый раз привезла, в подарок. Только тот Ольге по размеру не подошел, а жаль, красивый...

– Уточняет она. Ты мне просто скажи, да или нет.

– А работа? Я ведь работаю. Мне нельзя на несколько месяцев...

– Уволишься. Я тебе, как это... – Юлька щелкнула пальцами. – Компенсирую, во. И вообще... мы сестры или нет? Ты мне поможешь, я – тебе.

Она брезгливо огляделась и, подняв локти со стола, стряхнула прилипшие к рукавам белой блузы крошки.

– Ты за Ксюхой присмотришь, а я тебе денег на ремонт дам. Как тебе вариант?

– А твоя...

– Горгона? Договорюсь.

И договорилась же. И как-то даже легко, чему сама несказанно удивилась: отношения с бывшей свекровью у Юльки сложились непростые, отягощенные прошлыми обидами, резким расхождением во взглядах на жизнь и некоторой путаницей в финансовых вопросах.

Впрочем, в детали Ольгу не посвящали, а сама она не уточняла.

В результате дело закончилось тем, что первого июня у подъезда Ольгиного дома, вызвав нездоровый ажиотаж со стороны соседей, возник черный «Мерседес» Георгины Витольдовны, по прозвищу Горгона, в который, собственно, и погрузили Ольгин багаж (всего-то и вышло, что спортивная сумка), а потом и саму Ольгу.

Через пару часов она оказалась в дачном поселке «Чистое небо» в компании раздраженной и обиженной на весь свет Ксюхи, неразговорчивого Вадика, личности неясного рода занятий, и собственных сомнений.

С каждым днем сомнения крепли. Не выдержит она до августа...

– Теть Оль, ты чего, заснула? В дом пошли, а то сгоришь. И вообще затея дурацкая была...

Ольга послушно поднялась. Нельзя на Ксюху злиться, она же ребенок еще... подросток... обиженный...

День у Микитки с самого ранья не задался, это он сразу понял, и хотя ж перекрестился трижды, и молитву Никите-великомученику, заступнику своему, пробормотал скоренько; а следом, слезы да сопли по лицу размазывая, и Богоматери с просьбою робкой заступиться за сиротинушку. Не помогло. Да и как-то на святых надеяться, когда грешен сам, лжив да ленив? И вчерась без молитвы заснул, только-только упал на солому, а глаза-то сами возьми да захлопнись, так и пролежал, пока Фимка в бок не пнула, велев скотину выгонять. Микитка и поднялся, но не сказать, чтоб вовсе ото сна отошел, ступал, будто бы и в разуме, а будто и нет, вот и вышло, что в дверях столкнулся с Нюркой. А у той в руках подойник, молока полный, то ж баба преглупая, заверещала впотьмах да ведро из рук выпустила. Ох и полились по крылечку реки молочные Чернышу на радость, Сторожку на зависть – он-то на цепи своей не дотягивается, только глядит да лаем заходится, пугает кошака. Тот же, на ступенечке примостившись, знай хлебает горячее парное молочко да на Микитку с насмешкой зыркает: дескать, спасибо тебе за старание, но как бы не вышло чего.

А и вышло: Фимка, баба тощая, лядащая, на крики Нюркины возьми да и выскочи, увидала молоко разлитое, подойник на землю брошенный, Нюрку голосящую да Микитку, который тихо стоял, к косяку прижавшись, тут-то и сообразила все. Ох и вопила она! Ох и кляла, и по батюшке, и по матушке, и вообще по-всякому, иных слов Микитка-то и не понял. А после подскочила да, ухватившись за космы, принялась по щечкам стегать, головою о стенку бить и приговаривать:

– Тебя, ирода этакого, из милости взяли, пригрели, пожалели... – А сама на каждое словечко о стенку ударяет. Стук-стук-стук – пустой из Микиткиной головы звук, громкий, даже через лай Сторожкин слышен. – Кормят, одевают, а ты вона чего учинил!

Нюрка-то уже приуспокоилась, Нюрка-то жалостливая, ежели б раньше встал да в сарае застал, когда она Пёстру выдаивала, глядишь, и дала б с ведра отхлебнуть. Или кружку б нацедила. Молочко-то из-под коровы горячее, теплое, пахнет живым и силы дает. Нынче ж нет у Микитки никаких сил, даже на то, чтоб вырваться от Фимки, вывернуться и удрать.

А она все говорит и говорит... бьет и бьет... потом в поруб посадит, в темень и страх, к крысам да душе Кишитана-пьяницы, которого лет пять назад в канун Пасхи засекали, почитай что насмерть, и домой отправили, да поп отходную отчитать не успел, занят был, вот душенька-то и обиделась на живых.

Мокрое что-то из носу потекло, а внутри вот как-то так стало... ну никак. Прямо хоть помирай, а ни жилочка не дрогнет, и не от страха, а оттого, что все равно Микитке жизни никакой на дядькином подворье нету: чужой он тут и чужим вовек останется.

– Иди отсюдава. – Наконец-то Фимка отпустила волосы и в спину тихнула. – Глаза б мои тебя не видели, свалился на голову... коров выгони, птицу выпусти да насыпь, яйца выбери, потом свиням дай.

Микитка слушал, кивал, а думал все о том, что хоть и богат дядькин двор, и коров у него аж три, и конь какой-никакой, а свой, и свиней, и гусей, и кур немерено, а все одно, лучше б оно по-прежнему было.

Но думать – одно, а Фимке перечить – другое. Вытер Микитка юшку, стараясь рукав не извазюкать, и побрел к воротам. Там за добротным забором была воля. Наезженная дорога с серой жесткой травой по обочинам да двумя колеинами, которые по весне и осени

набирали воду, размокали, расплзались грязью до самого забора, а ныне, по лету, были твердыми, сухими, точно в камне вырубленными. За дорогой – поле. Отливает желтизной, клонится по ветру, день ото дня зерном тяжелея. За ним – березовая рощица и пруд, куда Егорка, Нюркин младший, гусей гоняет, а вечером, возвращаясь приносит рыбью мелочь: и еришков колючих, и окуньков с красными плавничками, и шустрых плотвичек, а случилось, что и щукарят, длинных, зелено-полосатых, с вытянутыми мордами и костяными зубьями. Егорка врет, что будто бы щукарята эти в пруд из озера попадают, а родит их царь-щука, которая стара да толста, ленива и мудра, на любой вопрос ответить может, но только если по-ейному, по-щучьи разумеешь. А еще у нее во рту перстенок с камнем, каковой сияет ярко-преярко, ажно слепит. И будто бы Егорка сам видел. Врал небось, нельзя ему к озеру-то.

С этими мыслями Микитка открывал дверь сарая да коров выгонял. Те ступали медленно, важно, первую Пёстра – ни дать ни взять старостиха, толстобока, крива на один глаз, и вымя едва ль не до земли свисает, сосками песок скребет. За нею Гулена, черная, будто в смоле выкупанная, задом виляет, хвостом машет, норовя по рожке заехать.

– Пошла! – прикрикнул Микитка и по земле хворостиной перетянул и к забору прижался. С третьей, с Забавою, не забалуешь, это тварь хитрющая, чуть заминешься – или боднет, или лягнет, или просто придавит весом своим немалым. Точно чувствует, что никто за Микитку не заступится.

Гнать надо за поле, на Тюшкин луг, там небось Малашка уже собрала колейку... эх, с нею бы остаться, хоть и старая, и говорит много, непонятно, но зато не обижает. Правда, Егорка твердит, что будто бы Малашка – ведьма, что была она прежде мельничихою, жила королевною, каждый день наряды меняла и рук работой вовсе не марала. А все потому, что богатства ради спуталась она с нечистой силой. Вот Господь ее и покарал: сгорел в грозу дом Малашкин, и муж в нем, и дети, а сама хоть и жива осталась, но умом двинулась. Только и способна, что коров пасти.

Попервости-то Микитка поверил, оно и понятно – страшная она с виду: горбунья, хромая на левую ногу, голова седая вся, а лицо гладенькое, румяное. Вот и поди разберись, сколько ей годков.

– Ох ты, Господи, – сказала Малашка, кнут отбросив. – Ну Ефимия, ну совсем страх божий потеряла!

Погрозил кулаком в небо, вздохнула, прижала к себе да заплакала. И так Микитке от тех ее слез горько стало, что и он сам не выдержал, хотя ж слово давал самому себе да крест на земле чертил и кровью кропил, клятву скрепляя: не будет он плакать. Пусть бы и били, пусть бы и голодом морили, пусть бы даже на ночь в порубе заперли – не будет и все.

И держался, даже когда дядька с Фимкиных наговоров розги брал, а тут вот... вот пахло от Малашки молоком да навозом, цветочками какими-то и хлебом свежим. И ласковая она, пусть себе и ведьма, ну так не злая же, не из тех, что детей малых крадет... а вот бы и украла, унесла за леса да за горы, за железные заборы, заточила в горе под Змея приглядом, он бы на все согласился, лишь бы отсюда сбегать.

– Забери меня, тетечка ведьма... – взвыл Микитка. – Я все тебе делать буду. Я умею. Я не ленивый вовсе, и...

– Некуда забирать, – ответила Малашка, как-то вдруг рассердившись. Отпихнула и строго велела: – Назад иди. Не гневи Бога, ибо есть у тебя родня, с нею и жить. Дядьки держись, а Фимка... найдется и на нее управа.

Спорить Микитка не стал, непривыкши был, вытер глаза, носом хлюпнул да побрел назад. Ох, летит дорога, то ли лентой на землю ложится, то ли рекою пыльною стелется, к небу тянется, того и гляди, вольется, подымет Микитку далеко-далеко, высоко-высоко по-над землю. И к облакам прямо, где и тятька, и мамка, и Сергунька, младший Микиткин

братец, ждуют небось, дивятся, что медлит старшенький, да обиды его собирают, им-то сверху все видно.

День шел почти обыкновенно. Куры, гуси, рыжий, драчливый петух, таки клюнувший Микитку в лоб, пустые щи на обед да ломоть хлеба, но вот странность – не лез он в горло, а голод, с которым Микитка уже свыкся, сжился, вдруг отступил, сменившись непонятной слабостью. Спать охота была... но разве ж дадут? То одно сделать, то другое, то третье...

Он и не понял, как оказался в овине. Тихо тут, стоят пустые лари, готовые принять и тяжелое зерно нового урожая, и мешки с белой, легкой мукой, каковую привезут с мельницы чуть позже, высятся загородки для репы, сохнут бочки для капусты и огурцов... Пахло едой и покоем. Что-то шурило в соломе, похрустывало, поскрипывало, витали в воздухе былинки, вилась мошкара.

Микитка устроился в дальнем углу, на разворошенном тюке соломы и, стянув рубаху, кое-как скомкал, сунул под голову и глаза закрыл. Он всего-то на минуточку... на одну минуточку... Фимка и не заметит, Фимка Нюрку распекает за... а какое ему дело, за что? Фимка невестку на дух не переносит, только ко внуку и ласковая...

А дорога-то и вправду в небо тянется. Идет Микитка по ней, горячий камень ноги жжет, пыль подымается, солнце сверху припекает; но хорошо ему, легко, охота и вовсе в бег сорваться. Только негоже бегать, ему уже десять почти, не постреленок... а дорога выше и выше, уходит вниз обочина с серой травой, и поле, и луг, и рощица березовая уже будто бы не со стороны, а сверху видится, и пруд за ней точно зеркальце отсверкивает, отливает синевой. И колейка Малашикина вон, вытянулась вдоль пруда, глядится рыже-черно-бурыми коровьими спинами. И сама Малашка с муравейчика величиною, но лицо-то видно, светлое, счастливое, радуется она за Микитку, руками машет. И он бы ей помахал, да только знает – нельзя ему останавливаться, дальше идти надо.

Вот по-над рекой дорога протянулась, плывет, вихляет, повторяет каждый поворот. Озеро... огромное какое. Просто-таки неоглядное, а может, и не озеро вовсе, а море-окиян, за которым страны неизведанные, про каковые Егорке еврей, грамоте обучать нанятый, сказывает. Неужто туда путь? Страшно-то как...

Бегут по-над озером волны, накатывают друг на друга, глубину несказанную скрывая ото всех, но не от Микитки. И видит он, что там, где зелено, там мелко; где синевой вода рядится, там глубже – ходит косяками рыба, дремлют в сплетениях водорослей щуки, спят в омутах сомы. А вот там, где и вовсе озеро черно, – яма глубокая, что твой колодец, и свет солнышка вовнутрь не проникает. Но все одно, видно Микитке и без света, что сидит в ямине, к самому дну прильнув, зверь невиданный. Не щука, не рыба вовсе, а словно бы человек, баба, телом сдобная, богатая, волосом длинная. Да не просто сидит, а гребнем резным, ракушками да жемчугами украшенным, космы чешет. А как счешет волосья, так комкает да в стороночку кидает; те же вверх поднимаются, расползаются водой черной, ядовитой. И бледнеют в ней травы, и грязью песочек речной оборачивается, и рыба, ежели хоть бы плавничком коснется, тотчас брюхом кверху кувырывается, а уж если человек попадется, то недолго ему век коротать – сгинет от хвори неведомой.

А баба водяная знай себе чешет...

Ох и страшно стало Микитке, аж дух перехватило, что сейчас заметит его, руку протянет да и стащит с дороги в омут. А там холодно да темно, и ни жизни, ни смерти, ни душеньки. Взмолился тогда Микитка к святым угодникам и Богородице пречистой и за крестик нательный рукой цап – а нету крестика. Снял кто-то, когда Микитка заснувши был.

Фимка! Как есть она! Сироту погубить решила!

И только понял – поплыла дорога под ногами, исчезая. Полетел Микитка с вышей поднебесных в самый русалочий омут, только и успел, что в последний раз перекреститься. Зазвенело вокруг, точно не в воду – в колокол медный рухнул, хлынуло в рот, в нос, дыхание перебивая, и забился Микитка, норовя выплыть, – да тщетно, тянет ко дну, одежда тяжелая, тело чужое, руки и ноги не шевелятся.

Утоп.

Только и не утоп. Дышать не дышит, сердце в грудях не колотится, и холод такой, что прям хоть второй раз помирай. А под ногами дно, и ил ковром персидским, и раковины розовые узорами по нему, и рыбок серебро живое, и солнышка вдосталь, правда, не греет нисколючки, зато радугой разноцветною разливаются.

Иначе все, чем сверху, только вот баба та же. Нет, не баба – девка, вроде Шурки соседской, к которой уже трое сватались, такая красавица. И эта не хуже, а то и получше. Вон личико-то круглое, чистое, брови соболиные, точно угольками вычерченные, губы маками цветут, глаза бирюзой отливают.

Про бирюзу Микитка слышал от того же еврея, что Егорку грамоте обучать нанят, и вот сразу понял, какая она есть.

А волос, волос у девки водяной – чисто из лучей солнечных сплетен, и длинен, и тяжел, и удержи нет, до того потрогать охота. Может, разрешит? Ведь не злая же, улыбается, глядит ласково, гребешок к груди прижавши.

– Кто ты, мальчик? – Голос качнул воду, рассыпался золотыми искорками, а те в раковинки упали, прорастут потом жемчужинами.

– Микитка я, – ответил Микитка, шапку стягивая, поклонился степенно и рукой по илу мазанул, видел, как дядька так барина приветствует. Хорошо вышло, рассмеялась девица.

– Как ты сюда попал? Неужели утонул? Но нет... утопленники ко мне не доходят, утопленников ваши забирают... – помянула и нахмурилась, вроде только бровки сошлись над переносицей, а Микитку такой страх обуял – словами и не передать. – С крестом пришел?

– Н-нет. Фимка украла!

– Повезло тебе. Я тех, кто с крестом в царство мое является, не люблю. Многие беды от них...

– Какие? – Микитка осмелел и уже не одним глазком, а обоими на девку пялился. И срамна она – нагишом сидит, только сеткою из волос да зеленой травы водяной прикрытая – и хороша, и томление вызывает, и стыдно, и глаз отвести никак невозможно.

– Всякие. Что, нравлюсь?

– Нрависься.

– Мал ты еще на женщин смотреть. – Поднялась, гребень отложила, подошла к Микитке и, в глаза заглянув, сказала: – Крещен, но без креста... не утонул, но пришел... редкий дар тебе даден.

Ледяные пальцы ее коснулись подбородка, обожгли до самого Микиткиного нутра, но ни словечка он не вымолвил, закоченел весь под строгим русалочьим взглядом.

– Смотри не прогадай, на пустяки не изведи, зла не твори, добра не забывай. Всего в тебе поровну, что белого, что черного... кривым ли вырастешь, прямым ли... отпускать ли тебя? Иль тут оставить?

– Отпусти, хозяйюшка.

– Это верно, хозяйка я Кирмень-озеру, как решу, так и будет. Значит, хочешь наверх, на волю? К тем, кто тебя сюда отправил? Не боишься?

– Не боюсь, – понял вдруг Микитка, что и вправду не боится, потому как силу в себе ощутил такую, которой и названия-то нету. Не страшна ему теперь ни Фимка, ни петух ее лядаций, ни Забава рыжая, ни вообще кто из людей. Слабы они, а Микитка силен.

Вот только водяница посильнее будет, оттого как не людского она племени, а того, о котором ныне только в сказках и услышишь.

Поняла, подслушала мысли, покачала головой и, руку убрав, вздохнула:

– Рано ты силушку-то почуял, как бы не испортила она тебя. Останься тут, разве плохо?

Хорошо. Как в палатах царевны-лебеди, как в горе стеклянной, где змей трехглавый сокровище да чудо-девицу стережет, как нигде на земле хорошо, но Микитке красота эта в тягость. Наверх его тянет, манит, зовет.

– Да, неудобно человеку во владениях моих. Что ж, не знаю, как должно быть бы, но силком тебя держать не стану. Запомни волю мою добрую, а лучшие службу сослужи.

– Все, что скажешь! – пообещал Микитка, обрадовавшись.

– Не торопись словами-то кидаться, – укорила водяница, снова на лавочку жемчужную усаживаясь. – За каждое данное после ответ держать придется. Ну да я о многом не попрошу. Найди человека одного, Яковом Брюсом кличут. Вот так выглядит.

Повела рукой, и сгустилась вода, слиплась серебряным зеркалом, а в нем – отражение. И снова дивно – вроде как Микитка и каждую черточку видит, но вроде и неважны они, иное запоминается. Белое вот, самая малость, одуванчиково-желтое, травяно-зеленое, и темно-синее, грозное...

– Правильно смотришь, – похвалила водяница, зеркало свое убирая. – Тебе теперь только так людей видеть, зато не ошибешься.

И понятно все: синее – значит, смелый человек, холодный разумом и крепкий волей, белизна – это от чистоты помыслов, желтое – значит, гневлив и вспыльчив. Много цветов, много оттенков, и каждый что-то да означает.

– Найдешь и спросишь: крепок ли уговор? И готов ли он вернуть то, что в долг взял?

– И тебе принести?

– Нет. Если готов, пусть сам и приходит, скажи, что не обижу. Ну а заупрямится – передай, что во многих знаниях многие же беды.

– А как я его найду? И если не быстро? Быстро меня из дому не отпустят.

– Найдешь, – пообещала она. – Когда-нибудь да найдешь. Я время иначе слышу, чем вы, люди... он тоже. Все, Никита, ступай теперь.

Наклонилась, поцеловала в лоб и в грудь пихнула. Полетел Микитка, и все быстрее и быстрее, и чудится – не летит он, падает, вверх, к небу, в безоглядную синеву, в которой и утонет.

Захлебнется, задохнется, жаром опален будет.

Солнышко печет... солнышко душит... глаза жжет. Нет, темь вокруг, сырость и воняет жиром прогорклым. Жарко, жарко, жарко... на грудь давит. Урчит под боком. И зеленые глаза из темноты на Микитку пялятся. Закричал бы со страху, да сообразил – Черныш. Забрался, улегся на груди, греет. И стихнуть бы, да сил нет.

– Да не сочиняю я, вот те крест, – Гришка размашисто перекрестился. – Убивали там! Человека!

Народу перед магазином собралось прилично. Клавка, выбравшись из прохладной цементной коробки, лениво обмахивалась накладной и делала вид, что ей ну совершенно неинтересно, Кузьма пьяненько икал, придерживая рукой почти полную бутылку портвейна, Федор с Макаром слушали внимательно и только переглядывались, а Варька с Мелониной охали да ахали.

Впервые Гришка ощутил собственную значимость, он уже успокоился, унял дрожь в руках, и даже жалость по поводу потерянного бинокля прошла. Теперь он говорил медленно, степенно, делая между словами большие паузы и выпучивши глаза для пущей важности.

– Я от смотрю и думаю, чего они там делают? Сразу-то как? Сразу-то и не сообразил. А потом как по башке обухом... убийство!

– О-о-ох, – выдохнули одновременно Варька с Мелониной.

– Он ее от так за горло держит и душит, душит. А потом, на травку положивши, и поволок. За волосы.

Этого Гришка уже не видел, но вышло правдиво и душевно, даже Клавка обмахиваться перестала, так и застыла с открытым ртом.

– А она-то в чем мать родила!

– Врешь, – хмыкнул Федор, и Макар кивнул, поддакивая.

– А от и не вру! Голая! Видать, с хахалем застукал и порешил. – Гришка выдвинул версию и сразу в нее поверил. – Сейчас в саду зароет, елок насадит и с концами. Хрен кто докажет...

– Так ты, выходит, это... свидетель? – Клавка прихлопнула комара, пристроившегося было на мягком предплечье. – Ой, Гришка, смотри, как бы и тебя следом не отправили.

– Заткнись, – велел Федор. – А ты, Гриша, вспомнишь, на какой из дач видел-то?

– Конечно.

– Тогда пошли.

– Куда?

– Туда. А то мало ли, вдруг и вправду порешили кого. Клавка, позвони Семенычу, пускай приедет. Ну а мы с мужиками пока поглянем.

Макар поднял с земли мешок, в котором что-то громко звякнуло, покопавшись, вытащил небольшой топорик, сунул его за пояс, застегнул рубашку и, окинув Гришку взглядом, уточнил:

– Ты точно ничего не придумал?

Вместо ответа Гришка перекрестился. Поверили.

К дачам шли вчетвером. Гришка больше глядел под ноги да по сторонам – не мелькнет где дедов бинокль, следом, не отставая, но поторапливая, шел Федор, за ним – Макар, ну а в самом конце еле-еле брел Кузьма, невесть с чего увязавшийся. Этот то и дело останавливался, прикладываясь к бутылке, и аппетитно булькал, вызывая у Гришки досаду, – надо было попросить у Клавки на укрепление нервов, небось после такой истории дала б.

Берег озера обогнули по протоптанной тропинке, привычно отмахиваясь от черных облачков гнуса. Солнце, перекатившееся уже через половину неба, зависло на другой, на дачной стороне, и в ярком предвечернем свете домики казались еще более чуждыми.

– Которая? – сухо поинтересовался Федор, с ненавистью глядя на аккуратные заборы, кирпичные стены причудливых строений, блестящую черепицу и круглые бляхи спутниковых тарелок на крышах.

– Дальше. Во-о-он та. – Гришка указал на приметный серый дом с башенкой.

– Точно?

– А то.

– Пошли.

По мере приближения Гришкина уверенность таяла, сменяясь подспудным страхом. Нет, он не боялся ошибиться, он точно запомнил и башенку, сложенную будто бы из неотесанных глыб, между которыми виднелись белые цементные швы, и флюгер в виде петуха, и покатоое крыльцо, и клумбы с цветами по обе его стороны. Не сомневался он и в увиденном: пускай и приврал слегка в рассказе, но ведь видел же. Убийство видел. И убийцу тоже. А значит, права Клавка – свидетель он, Гришка Кушаков. Опасный свидетель...

Федор кулаком постучал по воротам и, не дожидаясь ответа, толкнул калитку.

– Есть тут кто?

Во дворе было тихо. И красиво. Травка зеленая, ни тебе огурцов, ни помидоров, жениными колготами сложенными к колышкам подвязанных, ни укропа с петрушкой, ни подкопанных курами георгин.

– Эй, хозяйева!

На крик Федора где-то в доме всполошилась собака, судя по голосу – мелкая шавка, навроде Клавкиной. И тут же басовито, грозно ответила другая. От ведь незадача-то, а ну как порвут?

Макар вытащил из-за пояса топор, перехватил удобнее и решительно направился к дому. Не успел пройти всего пару шагов, как дверь открылась, и на крыльцо выкатился белый клубок шерсти, который с громким визгом кинулся под ноги, норовя ухватить кирзовый сапог. Получил пинка и отлетел в розы.

– Эй, ты чего животное обижаешь? – Следом за собакой на улицу вышел и хозяин: низенький, лысоватый мужик с объемным животом, нависающим над короткими желтыми штанами. – Тебе чего?

– Он? – спросил Макар. Гришка кивнул. Он самый, убийца, душитель и маньяк.

– Слушайте, это, между прочим, частные владения. Понимаете? Я сейчас охрану позову. Светка! Светка! Позвони на пост, а то беспредел прямо.

– Где труп? – поинтересовался Федор, а Макар молча приподнял топор.

– Какой труп?

– Ж-женщина... светлые волосы, вот досюдова. Душил. Во дворе. Тут вот, – Гришка ткнул пальцем перед клумбой.

– Я душил? – Мужик нахмурился, а потом вдруг расхохотался. – Я... я душил... я душил!

Он ржал, прихлопывая ладонями по голым бокам и толстым ляжкам, поскуливая и смахивая слезы, а отсмеявшись, заорал:

– Светка! Сюда иди! Г-господи, я душил... придумают же...

– Чего тебе? – На пороге возникла высокая блондинистая особа в коротком халатике, который, впрочем, мало что скрывал.

– Светка, они говорят, что я тебя душил!

– Когда? – Она зевнула, прикрыв накрашенный ротик ладонью.

– С-сегодня. – Гришка почувствовал, как краснеет. Господи, ну он же видел! Он своими глазами видел!

– Сексом мы занимались! – рявкнул мужик на оторопевшего Федора.

– На улице? – ошалело спросил тот. – А за горло и...

– Моя баба, за что хочу, за то и хватаю. Дурдом! Нет, Светик, они за нами еще и подсматривают! Пошли вон, пока охрана не приехала... душил... я ее душил... Нарочно не придумаешь.

Выйдя за ворота, Федор молча отвесил Гришке подзатыльник, Макар бросил небрежное:

– Трепло.

А Кузьма, на которого недавняя сцена не произвела ровным счетом никакого впечатления, попросил:

– Дай десятку до субботы? Ей-богу, отдам.

Закат Гришка встречал все в тех же кустах малинника, сидя на покрывале, сунув под зад подушечку и поставив на табурет бутылку самогону. Был он пьян и обижен на весь свет, особенно на Федора с Макаром, которые не стали молчать о Гришкином конфузе, а представили все так, как будто он, Гришка, и вовсе дурень, который только и может, что сказки сочинять. А он же взаправду видел... видел и все тут. И Машка тоже не права, ну за что из дому погнала? За что скандал устроила соседям на потеху?

– А она мне и говорит... иди, говорит, видеть тебя, говорит, не желаю. Дура!

Кусты зашелестели, соглашаясь с Гришкой. Он же, дотянувшись до бутылки, хлебнул их горла, занюхал смородиновым листом, достал из кармана пачку «Примы» и, с каким-то внутренним торжеством отметив, что сигарет осталось только две, а значит, до утра не хватит, закурил.

– А я ей: Маша, всяко ж быть могло! Вдруг и вправду маньяк какой? Я ж о тебе беспокоюсь...

Теперь он и вправду верил, что именно о ней, о скандальной, непонимающей, не способной оценить размаха его, Гришкиного, поступка женщине, и беспокоился. И теперь не прятался от праведного гнева, а просто удалился, дабы поразмыслить над случившимся в покое и благодати.

Впрочем, для благодати не хватало закуски. Сальца бы, тмином да перчиком посыпанного, с розовой прослойкой мяса, с серо-зеленым, прилипшим к шкурке лавровым листом, с соленым огурчиком да вчерашней, разогретою с маслом картошкой. И посидели бы с Кузьмой, и накатили бы по маленькой, и обсудили бы случившееся, и, может статься, посмеялись бы.

– И что за люди? Я ж как лучше хотел...

С озера ощутимо тянуло сыростью, по-над водой подымалась белая дымка, которая постепенно густела, скатывалась в пуховые клубы, растекалась по берегу, заливая окрестности молочной мглой. Жутью повеяло и холодом.

Гришка, в очередной раз приложившись к бутылке, кое-как закрутился в покрывало. Идти домой он не собирался, еще чего не хватало! Сама прибежит. И умолять будет, чтоб вернулся, а он еще поглядит, соглашаться али нет... нет, потом, конечно, согласится, все ж таки с Машкой жить сподручнее: и сготовит, и приберет, и баба неплохая, а что вспыльчивая, ну так это семейное, теща-то покойная тож не ангельских характеров была.

Темнело. Заорали, заплакали козодои, нагоняя страху, а откуда-то издалека, с берега, донеслось:

– Ой, цветет калина в поле у ручья...

Голос был незнаком, видать, дачницы гуляют. Гришка прислушался.

– Парня молодого полюбила я... парня полюбила...

И хорошо выводит-то, будто взаправдашняя артистка.

– Не могу открыться...

А может, ну его? Дома Машка ужин сготовила, малых спать положила, ждет небось замиряться. Она ж хоть и вспыльчивая, но отходчивая. А у Гришки спину крутит, ему со спиной никак невозможно в мокрых кустах сидеть.

– ...слов я не найду.

Ишь разоралась. Гришка поднялся, скатал покрывало, укрыв его куском брезента, придавил сверху камнем, недопитую бутылку сунул в карман куртки и выплюнул окурочек на траву.

– Он живет, не знает...

Окрестности затянуло туманом, густым, плотным, таким, что дальше, чем на три шага, ничего и не видать.

– Твою ж... – привычно ругнулся Гришка, прикидывая, в какую сторону идти. А мгла колыхалась, то отползая, то накатывая седой волной, придавливая листья малины, касаясь липкими пальцами кожи, будоража, пробуждая глубинный страх.

– ...ничего о том, что одна дивчина думает о нем...

Гришка пошел наугад. Вот диво-то, он ведь точно знал, где Погарье, и не раз хаживал, и по тьме ночной, и в пургу случалось, а тут вдруг заблудился.

Кусты малины цеплялись за одежду, точно уговаривая погодить, посидеть, дожждаться ночи, когда туман схлынет, исчезнет в водах озера Мичеган, но Гришка отмахивался, матерясь вполголоса, и упрямо шел вперед. А вышел снова к яблоне, споткнувшись о собственный табурет, едва не упал.

– Расцветали яблони и груши... – завела девица новую песню.

– Эй! – осмелился Гришка. – Ау!

Молчание. Тишина. Легкий шелест ветвей и будто вздох чей-то, до того печальный, что прям сердце сдавило.

– Ау!

– Ау, – отозвалось из тумана. – Ау-ау-ау...

И смех, звонкий, издевательский.

– Ты кто?

– А ты? – переспросила женщина.

– Я? Я Гришка. Гришка Кушаков, из Погарья. А ты откуда?

– Отсюда.

Внезапная догадка озарила Гришку, разом развеяв страхи.

– Дачница? Заблудилась, что ли?

– Заблудилась... заблудилась.

И будто снова кто-то вздохнул, прямо-таки за спиной. Гришка резко повернулся – пусто. Темный силуэт яблони проступает сквозь мглу, и малинника стена, и больше никогошеньки. Ну и примерещится.

– Страшно, – пожаловалась женщина.

– Так это... ты не бойся. Я ж тут.

– Там.

– Ну, значит, приду скоро. Ты, главное, с места не сходи и кричи. А я на голос выйду.

Выведу.

Тут Гришка слегка покривил душой, он был совершенно дезориентирован, но признаваться в этом не собирался.

– Ау... – нерешительно пискнула незнакомка. – Ау... расцветали яблони и груши...

С песней это она хорошо придумала, правильно. На голос он и пойдет. Идет... и идет... и вроде рядом, вон уже и кусты кончились, под ногами трава, мокрая и скользкая. Туман. Голос. То справа, то слева. Близенько совсем. Что-то большое, высокое, навряд стены... рогоз, всего-навсего рогоз. Значит, озеро где-то рядом, ну да, вон и вода плещется, и сыростью пахнет, только не как обычно, подсохшим навозом, подгнившей травой, а будто бы цветами. Или духами? Конечно, откуда на озере цветам взяться-то? Тут отродясь ничего, кроме ряски, не росло. Это она, дачница...

– Во поле березка стояла... во поле кудрявая стояла...

– Эй, ты где там? Давай выходи! – Когда под ногами хлопнула вода, Гришка остановился.

– ...люли-люли стояла...

– Выходи, говорю!

– Некому березку заломати, некому кудряву заломати...

Ненормальная. Они все там, на дачах, ненормальные. Гришка против воли сделал шаг. И еще один. И провалился в яму – неглубокую, по колено где-то, но сапогами воды набрал, да и сам вымок, пока выбирался. И кепку потерял где-то. Ну и день, сначала бинокль, потом кепка. А певунья ничего, хохочет только.

– Все, ты как хочешь, а я пошел!

Он сделал шаг назад и снова провалился. Выбрался, отплевался, огляделся... куда идти? Ни черта не видать. И в голову лезет всякое.

– Я крещеный, слышь ты! Вот! – Гришка дрожащей рукой нашарил крестик, который носил лишь потому, что тот был красивый, серебряный и Машкой подаренный. Освятить бы надо, да все недосуг было... недосуг.

– Во имя отца и сына... – начал было он, запнулся, не зная, что говорить дальше; а туман, подавшийся было назад, почуял Гришкину слабость, навалился мутной белизной, затянул все окрест. И эта, которая в озере, знай себе смехом заливается.

Нечисть!

Шаг, другой, и озеро все глубже, вот сапог под водой зацепился за корень, и так, что еле-еле вырвать удалось. Нет, не выберется он.

– Отпусти! – взмолился Гришка. – Ну зачем я тебе? Я... я никчемный. И пью. И Машка у меня. Другого найди. Я Машку люблю.

– Лю-ю-юбишь? – разочарованно протянула русалка.

– Люблю. Вот те крест! Она...

– Глупый! – фыркнуло из темноты. И водой плеснуло в лицо, ничего, Гришка утерся, Гришка стерпит, лишь бы отпустило. А в голове одна-единственная мысль: не поверят. Вот после сегодняшней истории точно не поверят. Ну и пускай, выбраться бы, на сушу бы, к Машке бы...

– Глупый, как есть глупый, отпусти, хозяйюшка.

– Иди.

– Куда?

– Прямо.

Первый шаг, осторожный – а ну как обманет и в глубину заведет, но нет, вроде мельче стало и корни исчезли. Второй, третий... мельчало. Вот и рогоз, и запах будто бы прежний вернулся – застояло-гнилостный. И только нежный голосок выводил печальное:

– Во зеленой травушке-муравушке не сыскать растерянных колец...

– Спасибо, хозяйюшка. – Повинуясь порыву, Гришка поклонился, мазнув рукой по мокрой траве.

– Не найти любви-забавушки, тут и счастьяцу конец, – долетело со стороны озера.

Выбрался! Неужто выбрался?! За стеной рогоза он остановился, чтобы перевести дух, нашарил в кармане бутылку, потянулся было, чтоб выпить, но отчего-то передумал, махнул рукой и торопливо зашагал туда, где, по его представлениям, находилась деревня.

Шагов за спиной он не услышал и только в самый последний момент, когда сделать что-либо было уже невозможно, обернулся. И оттого удар, выверенный, рассчитанный, обрушился не на лысоватый Гришкин затылок, а на покатый лоб.

Гришка не упал, так и стал, раззявив рот, и стоял, пока не ударили снова, а потом, распаяясь, еще и еще, превращая лицо в кровавое месиво.

Склонившись над телом, человек отдышался, размотал полотенце, которым был обвязан один конец полена, – его он кинул рядом с Гришкой. И перекрестившись, бодро зашагал в сторону озера. Где-то по дороге он вытащил из-за пазухи и зашвырнул в заросли бинокль.

Туман разошелся только к утру.

– Теть Оль, ты ничего не слышала? – Ксюха стояла на балкончике второго этажа и, прищурившись, вглядывалась в муть, пару часов назад поднявшуюся со стороны озера. – Поет вроде кто-то...

Ольга послушно прислушалась. Вяло стрекотали кузнечики, бормотало радио, бухтел включенный телевизор, жужжала залетевшая в комнату муха, а вот чтобы песни.

– Там. – Ксюха вытянула руку в сторону озера. – Ну точно поет!

– Тебе кажется.

– Ага, ты как мамка, она тоже постоянно, чуть что: кажется и кажется... будто я психованная какая, чтоб глюки ловить. И вообще там ты ничего не услышишь, ты сюда выйди.

Ночной воздух дышал сыростью и ароматом роз, оседал на коже капельками влаги, чудилось, что туман этот – сказочный, волшебный – отделил их с Ксюхой от прочего мира. Где-то вдалеке проступали желтые пятна огоньков, видать, окна соседних домов, и темными пирамидами возвышались ели во дворе. Лаяла собака. И... и вправду кто-то пел.

Слов не разобрать, голос только.

– Теть Оль, а давайте спустимся? – Ксюха схватила за руку.

– Куда?

– Ну туда. К озеру и назад. Мы быстренько... только погулять. Мне вообще гулять полезно, днем жарко, днем я не могу, а сейчас в самый раз.

– Ночь ведь, опасно.

– Чего опасно? Тут же поселок, охрана, и вообще мы Вадика с собой возьмем. Ну пожа-а-алуйста, тетя Оль!

Ольге и самой было интересно, именно поэтому она легко позволила себя уговорить. Вадик к идее отнесся без должного оптимизма, но и возражать, как опасалась Ольга, не стал. Собрались быстро, вышли за ворота – Ксюха впереди, вцепилась в руку, страшно ей, но виду не подаст, бодренько в туман шагает, волочет за собой. И Ольга идет, пытаюсь запомнить дорогу. Беспольное занятие, мгла все изменила, перевернула, смешала краски и запахи, превратив окружающий мир если не в сказку, то уж точно в чью-то фантазию.

– Красиво-то как, – протянула Ксюха, озираясь. – Туда идем.

Она сошла с тропинки и пошла прямо по лугу, Ольге ничего не оставалось, кроме как следовать за племянницей. Высокая трава, роса, миглом промочившая льняные брюки, тишина, воцарившаяся вдруг, настороженная, опасная, и редкие звуки, ее нарушающие: Ксюхино сопение, ровное, спокойное дыхание Вадика, посвистывание пичуги, женский голос, который вроде и далеко, но как бы и совсем рядом.

– Ксюша, может, домой? – робко предложила Ольга, которой стало совсем не по себе. Ксюха лишь упрямо мотнула головой и потянула за руку.

Озеро близко, воздух сырой и холодный. Тропа. Туман.

– Ой... – Ксюха вдруг остановилась. – Ой, мамочки...

Она стояла, смотрела куда-то под ноги, но куда – Ольге не видно, нужно обойти, но прежде чем она успела сделать это, Вадик решительно отодвинул в сторону и Ольгу, и Ксюху, склонился – и снова не разобрать, над чем – темное и большое, расплывчатое, полускрытое дымкой тумана, – и долго возился. Ксюша рядом громко икала, пальцы ее, сжимавшие запястье, дрожали.

– Вы, это, идемте, – сказал Вадик, подымаясь. Только теперь Ольга поняла, что лежало на дорожке – человек. Пьяный, наверное. Ну, конечно, пьяный, деревня-то рядом, а в деревне все пьют. И сегодня там что-то вышло, сосед рассказывал, не Ольге, конечно, так кому-то, но громко и возмущенно, вот и услышала.

– Идем, идем, нечего тут топтать. – Вадик решительно подтолкнул женщин. – В дом...

– А он? – Ксюха указала на тело. – Он замерзнет. И простудится.

– Уже не простудится.

Вадик зачем-то вытер руки о траву и, серьезнее, тише, сказал:

– В дом. Нечего вам тут светиться, скажу, что один гулял. Вы обе из дома не выходили. Книжки читали, кино смотрели, ну не знаю, придумайте, ясно?

Ничего не ясно, но Ольга кивнула. Сейчас ей было очень-очень страшно, она до обморока боялась мертвецов, а ведь ясно – человек, лежавший на тропинке, мертв.

Кошмар какой!

Где-то совсем-совсем рядом женский голос выводил смутно знакомую мелодию.

– Ох и жути-то, жути было! – шепчет Егорка, к боку прижимаясь. Тулуп на себя тянет, хотя лето на дворе, жарень, а Микитке холодно. Третий день пошел, как он очнулся, и неделя с того, как заболел. Но про болезнь Микитка мало знает. Ну что в овине его нашли, что поначалу за мертвого приняли и уж думали, как хоронить-то, а он застонал и заговорил, только так, что ни словечка не понятно.

Что дядька испужался и на Фимку кричал: дескать, люди скажут – извели сироту, а та в ответ голосила, даже еврейчику дюжину яиц куриных понесла, чтоб придумал, как Микитку излечить. А еврей с полмешка муки затребовал и сбавлять не хотел. Тогда Фимка в церкву с Сабонихами съездила и свечку поставила. Видать, помогло, раз очнулся Микитка...

Правда, ослаб крепко и мерз все время. Вынесет его Нюрка во двор, на самый солнцепек посадит, а он в ознобе колотится. Ну да ничего, жив – и ладно.

– А мамка моя тебя киселем поила. И мне дала. – Егорка больше не знает, о чем говорить, и замолкает, сунувши в рот сухую рыбешку. Сам словил, сам на солнце высушил, сам и грызет, Микитке не предлагает. Ну и не очень-то хочется рыбы. Вот поправится Микитка, найдет Якова Брюса, колдуна, попросится к нему в ученики и станет сам колдуном. Тогда ему не ершей да красноперок сушеных – осетров на блюдах золотых подавать будут и просить, чтоб откушал.

– И Малашка приходила, коров пригоняла, но ее Фимка во двор не пустила. Ведьма она.

– Малашка?

– А то, я ж сказывал.

– Нет, не ведьма, – это Микитка теперь точно сказать мог: не было в Малашке того самого, грозowego, серого цвета, что о чародейском даре говорит.

– А от и ведьма! – пискнул Егорка, пихая острым локтем. – Я сам видел, как она ворожила! Костер расклала и черную ворону жгла. Та сгорела, ну прям в руках ейных, а потом раз – и из огня живехонькой выскочила!

Врет. И весь лиловым цветом полыхает, оттого что сильно ему хочется, чтоб Микитка во вранье это поверил.

– А еще... еще... еще я царь-щучку видел! Вот! Вынырнула ко мне и говорит... – Егорка спрятал рыбку в рукав тулупа, зажал рот ладонью и глухим, страшным голосом произнес:

– Почто, Егор, ты детей моих в сети ловишь?

– А ты?

– А я и говорю, сами попадаются. А она мне: отпускаяй. Тожэ хитрая, за здорово живешь взять и отпустить. Перстень сторговал.

Нет в Кирмень-озере царь-щучки – дева золотоволосая, водяница там обитает. В доме ее ковер из ила зеленого, жемчуг да серебро живое, рыбье; в сердце ее – холод вечный; в душе ее... а нету у водяницы души.

– И где твой перстень? – разозлился вдруг Микитка. – Покажь!

– Еще чего. Его не можно показывать, вмиг пропадет.

– Врешь ты все.

– Я?

– Ты. Врун и трепло!

Егорка заревел, громко, трубно, и слезы из глаз сыпанули, и сопли из носу потекли, а он знай размазывает и голосит все громче. На голос его мигом Фимка прилетела, принялась утешать, гладить, сахарного петушка обещая, какового дядька непременно с ярмарки привезет. А Микитке кулаком погрозила.

– Ох и ирод же, – сказала она. – Слазь с печи. Раз биться горазд, то и работать сможешь.

Микитка и слез. И вот же странность, былая слабость, которой он три дня мучился, исчезла: тело было ленивым, как после бани, но послушным.

Фимка, смеривши опасливым взглядом, велела:

– Иди, пусть тебе Нюрка молока нальет. А потом кур загони и коров с поля забери, нечего этой ведьме тут ходить.

Не ведьма она, только вот про то молчать надобно – не поверят. Вышедши за ворота, Микитка первым делом снял с шеи крестик нательный, матушкой подаренный, в Новгороде освященный, и, в тряпицу замотав, в карман сунул. Так-то оно лучше: и надежней, и шкуру не жжсет.

Гудело Погарье, летела от дома к дому новость, обрастая слухами да пересказами. Была Машка, оставшаяся вдовою, рыдали дети, вздыхали бабы, шепотом вознося молитвы, что Гришку прибрали, а не Ваньку, Кузьму, Сергея... Хмурились мужики, дымили папиросы, одна от другой прикуривая, поглядывали в сторону дач, вспоминали вчерашнюю историю.

И шептались, говорили, поминали имена, казалось бы, забытые и похороненные, крестились да вспоминали о церкви и свечах и тут же открещивались, уговаривая себя же, что это, новое, убийство к старым отношения не имеет.

Ведь не утонул же Гришка Кушаков.

Больше всего народу собралось у магазина, и Клавка, непривычно тихая, задумчивая, без возражений писала покупки на листок и только время от времени ласково спрашивала про деньги.

Ближе к обеду в магазин заглянул Степаныч, одетый по форме, строгий, обеспокоенный.

– Квасу дай. Холодного, – велел он, озираясь. Люди притихли, уставились ожидающе – чего скажет. Нашел ли? Конечно, нашел, Степаныч, он – мужик серьезный, доверием общественным облеченный. Только вот тянет чего-то, не торопится радовать новостями.

Клавка принесла из подсобки пластиковую бутылку и высокий стакан с синей розочкой, от денег отмахнулась и, протянув Степанычу, спросила:

– Ну? Что?

Тот только крякнул, крышку свернул, матюкнулся, когда из бутылки пена поперла, припал к горлышку и пил, долго пил, до того, что аж ждать надоело. А напившись, вытер усы ладонью и ответил:

– А ничего.

– Как ничего? – возмутился Федор.

– А от так. Ничего. Убийство – факт. А вот кто... искать будем.

– Не, Степаныч, погоди. Ты нам на уши-то не лей, чай, не чужие, давай-ка говори, чего там, с Гришкою-то. Мы ж тебе утречком все как на духу изложили, и домик указали, и...

– И спасибо тебе, Федор, большое, – безо всякой насмешки ответил Степаныч, допивая квас. – Сходили. Проверили. Пусто там, в доме, уехали хозяева, еще вчера уехали, аккурат после вашего визиту. А Гришку ночью убили.

– Врут, – веско заметил Макар и пояснил для прочих: – Дачники.

– Не, не врут. Проверяли.

– Кто проверял?

– Кто надо, тот и проверял! – Степаныч начал злиться. – Ты, Макар, не больно-то тут самодействуй, тут тебе не лесные просторы, где ты себе хозяином. Я-то быстро управу найду. Кто вас вообще вчера на дачи эти дернул? Ну имелось подозренье, позвонили бы, погодили бы, я б приехал и разобрался. А то поперлись... какого поперлись? Может, с этого самого Гришку и убили.

– И я про то ж, Степаныч. Значит, вправду он что-то видел, только вот что...

– Выясним.

На улице засигналили, и Степаныч, кинув на прилавок пару рублей, направился к выходу. Его не останавливали, не задавали вопросов, поняли – не расскажет. Но стоило захлопнуться двери, как Федор, насупившись, тихо сказал:

– Он это, мужик тот. Сначала уехал, а потом вернулся тихонечко и Гришку прибил.

Возражать не стали, только бабка Нюра зачем-то вспомнила:

– А-ить на озере-то русалки... русалки его... они...

Но на этот раз на слова ее внимания не обратили, оказалось – зря.

– Да, Юлька, убийство... нет, мы не можем здесь оставаться! Ну ты что, не понимаешь, насколько это опасно? Вадик? А что Вадик? Он вообще сегодня уехал... да откуда я знаю куда? К Горгоне твоей докладываться... – Ольга вздохнула, разговор, на который она очень рассчитывала, не получался, точнее, получался совсем не таким, как хотелось.

Юлька не желала понимать серьезности ситуации. Юлька считала, что сестра преувеличивает, что на самом деле все дело в Ольгином нежелании помогать... и пожалуй, кое в чем была права. Но ведь не только же оно! Убийство-то было, самое настоящее, и труп настоящий, и допрос, который продлился несколько часов, и Ксюха, честно сознавая, что тело нашла она... глупая девчонка, ну почему она просто не сделала так, как сказал Вадик? Неужели не понимала?

Нет, все понимала, все осознавала, но для нее труп – это приключение. Весело. Кульно. Рульно и вообще круче некуда, а что Ольгу и Вадика мурыжили пару часов, пеня за вранье и пугая последствиями, – ей плевать. Сами виноваты, сказала она.

– Нет, Юля, я не хочу здесь оставаться. Мы в город возвращаемся и...

Из трубки донесся гневный вопль, на несколько мгновений оглушивший Ольгу.

– Послушай, я...

Слушать Юлька не стала – бросила трубку. И Ксюха, делавшая вид, будто увлечена Толстым, радостно поинтересовалась:

– Маман в истерике?

– Мы уезжаем. – Ольга сунула телефон в карман джинсов. – Собирай вещи.

– Не-а.

– Что значит «не-а»?

Ксюха пожала плечами, захлопнув книгу, потерлась об обложку носом и заявила:

– Не хочу. Мне здесь хорошо. Воздух, птички... и вообще по приколу. Прикинь, мент вчера сказал, что его дубиной забили.

– Мента?

– Нет, конечно, этого, ну которого мы нашли, – Ксюха отложила Толстого и, одернув короткую юбочку, предложила: – Пошли в деревню.

– Зачем? – Ольга присела. Бессонная ночь и недавний разговор совершенно ее обессилили, голова кружилась, затылок отяжелел, предупреждая, что скоро будет больно, а глаза чесались. Прилечь бы, хотя бы на полчаса...

– Ну так, в магазин. Я минералки хочу.

– Сомневаюсь, что там будет минералка.

– Тогда квасу, – не сдавалась Ксюха. – Или молока. Молоко везде есть.

– Позвони Вадиду, он привезет. – Ольга осторожно помассировала затылок.

– Ой, и занудная же ты, тетя Оль. Ну просто пойдём, послушаем, о чем местные болтают. Мне вчера мент сказал, что этот мужик из деревни...

– Ксюшенька, деточка, – Ольга постаралась говорить спокойно, хотя сейчас очень хотелось завизжать, а то и вовсе за ремень взяться. – Солнышко, убийство – это не шутка, это...

– Это убийство, – подытожила племянница, подымаясь. – Ну ты как хочешь, а я пойду.

- Оксана! Я запрещаю. Я... я тебя не пущу!
– Ага, конечно.

Широкая дорога разделяла поле на две половины, на одной трава была скошена, собрана в аккуратные снопики, на другой – подымалась темно-зеленой, живой стеной. Виднелись в ней синие свечки люпина, бело-розовые россыпи клевера, желтые искры люцерны, лиловые – горошка. Пахло свежим сеном и все еще розами, теми самыми, ночными, коварными розами, которые вчера выманили Ольгу из дому.

Ксюха бодро шагала по тропинке, одной рукой придерживая широкополую соломенную шляпу, другой – шелковую юбку, которая норовила перекрутиться задом наперед. Ольга обреченно плелась следом. Шляпы у нее не было, мешковатые хлопковые шорты не доставляли никаких проблем, но вот радости это не прибавляло.

Дурацкая затея. И Ольга дура, поскольку согласилась принять в ней участие. Хотя нет, о согласии речь не идет, ее ведь даже не спрашивали, ее поставили перед фактом.

Она никто... прислуга, вроде Вадика... нянька, приставленная приличия ради...

– Теть Оль, ну, может, хватит дуться? – Ксюха остановилась, вдохнула полной грудью и заявила: – Только посмотри, какая красота!

Ну да, красота. Бледно-синее небо с редкими мазками облаков, слепящее солнце, дрожащая линия горизонта, укрытая за россыпью домов и указателем: «Погарье».

– Ксюш, может, домой пойдём?

– Не-а. – Племянница наклонилась и почесала лодыжку. – Теть Оль, ну неужели тебе самой неинтересно?

И что ей ответить? Сказать, что неинтересно? Что в голову напекло и тяжесть в затылке уже ожила, разлилась мигреной болью, что подташнивает и перед глазами плывет все? Что лежащее впереди Погарье не внушает иных чувств, кроме отвращения и желания поскорей вернуться в кондиционированный, равновесный климат чужого дома? Что страшно и противно, и ощущения эти естественны, ведь смерть не может пробуждать иных...

Ольга молча мотнула головой и попыталась выдавить из себя улыбку. Легче нужно к жизни относиться, проще, об этом и мама когда-то говорила.

Местный магазин представлял собой серую коробку с огромным, распахнутым настежь окном и резным крылечком, которое тут выглядело совершенно неуместным. Над дверью, приоткрытой и подпертой кирпичом, тускло поблескивала вывеска, из которой следовало, что магазин называется «Родничок» и работает с восьми до семнадцати часов.

– Суббота, воскресенье – выходной, – прочла Ксюха и, поправив шляпку, решительно перешагнула через высокий порог. Ольге ничего не оставалось, кроме как последовать за ней.

Внутри было прохладно, сумеречно. Свисали с потолка липкие ленты-мухоловки, пылились ящики вдоль стены, в углу стояли грабли, ведра, лопаты, канистры и висел зачем-то ядовито-оранжевый спасательный жилет, украшенный надписью «Antarctica». На широком прилавке лежало несколько рулонов ткани, прозрачной целлофановой пленки и прорезиненной клеенки, черной в красные клубничины. Чуть дальше на полках виднелись банки с тушенкой, рыбными консервами, пакеты с макаронами, крупами, сахаром, банки с конфетами и печеньем.

– Эй, есть тут кто? – крикнула Ксюха, морщась. Пахло в магазине прокисшим молоком, свечным воском и жидкостью для снятия лака. – Эй! Ау!

Где-то в глубине помещения что-то хлопнуло, стукнуло, упало со звоном, зашоркало по полу подошвами тапок, скрипнуло открывающейся дверью.

– Чего? – не слишком дружелюбно поинтересовалась деbeatая, сонная женщина в мятом халате. Полупрозрачный, он плотно облегал ее формы, под мышками расцветая темными пятнами пота, на талии забиваясь между складочками плоти, а на груди растягиваясь, норовя треснуть по швам.

– А... а минералка у вас есть? – поинтересовалась Ксюха, разглядывая продавщицу с веселым удивлением. – Меня Оксаной звать. Я Юлии Соловьевой дочь. Слышали?

– Нет.

– Жаль. – Ксюха примолкла, прикусив губу, раздумывая, о чем говорить дальше. – А... а это мы вчера труп нашли.

– Да? – С лица продавщицы мигом слетело равнодушие.

– Ага. Я и Оля. Это моя тетка.

– Ольга, – представилась Ольга, понимая, что так просто уйти не получится.

– Клава. Так это, значит, вы вчера? Гришку-то?

– А его Гришкой звали? – уточнила Ксюха. – Григорием... кто его так? А то мы ничего вообще не знаем, мы с тетей вдвоем, ну еще Вадик, конечно, только он свалил сегодня, и когда вернется – непонятно. Дома страшно, ну, понимаете, а вдруг убийца придет?

– Ужас, – согласилась Клава, опираясь руками на рулоны, и Ольге стали понятны причины их сплюсненной формы – весу в местной продавщице под центнер, а то и больше. – У нас тут тоже все трясутся. Машка белугой ревет, оно-то, конечно, понятно, как ей теперь одной да с тремя? Гришка-то, может, и охломоном был, но не вредный, и руки откуда надо росли. Вот горе-то...

– Ага, – только и нашлась, что ответить Ксюха. Похоже, она совершенно не представляла, о чем спрашивать дальше, впрочем, как оказалось, в вопросах нужды не было, Клавке крепко наскучило сидение в магазине. Она сама стала рассказывать, щедро пересыпая факты вздохами, всхлипами и собственными домыслами.

Ксюха слушала, опершись на прилавок, Ольга откровенно скучала. Хорошо хоть в прохладе головная боль вроде как отступила, зато плечи зачесались – то ли от солнца, то ли от комариных укусов.

– А вчера ему не поверили. В смысле, поначалу поверили, мужики собрались, чтоб, значит, самим поглядеть, чего там творится. Гришка придумывать горазд был, но чтоб такое...

Жужжали мухи, из подсобки выбрался толстый черный кот, зыркнул на Ольгу насмешливо, спину выгнул, потерялся боком о прилавок.

– Они приходят, и мужик-то с бабой говорят, что обознался, стало быть, Гришка... – Клава вдруг запнулась, сдвинула грозно брови и спросила: – Тебе лет-то сколько?

– Двадцать, – не моргнув глазом, соврала Ксюха. – Так, значит, они там сексом занимались, а Гришка решил, что душат? Прикол.

Кот, подпрыгнув на месте, ловко поймал муху, прижал лапами к полу, потом отпустил и снова прыгнул.

Не нравилось Ольге это место, она сама не понимала чем именно, но не нравилось – и все тут.

– Клава! – донеслось с улицы. – Клава!

По подоконнику грохнула трость.

– Кла-а-ва!

– Иду! – заорала Клава в ответ, боком выбираясь из-за прилавка. – Чего?

– погоди. – Ксюха ухватила продавщицу за рукав. – Один вопрос только. А кто это вчера пел?

– Чего?

– Ну пел. На озере. Красиво так, только слов не разобрать. Мы-то и пошли потому, что пели. У меня мама певица, очень знаменитая, и у меня слух с рождения абсолютный, так все говорят.

– Вчера пели? У озера? – Клавкины брови поднялись вверх, почти исчезнув под низкой рыжей челкой.

– Ну да. Женщина какая-то, и так красиво, правда, тетя Оль?

– Правда, – подтвердила Ольга, припоминая вчерашний вечер. – Пела. Из народного что-то.

– Клава! – продолжали орать из-за окна, но та не реагировала, стояла, нахмурившись, думала, и было заметно, что процесс этот давался ей нелегко, как и решение, которое Клава в конце концов приняла.

– Вы это... к бабе Нюре ходите. Она знает... от же, случится же... пела... выходит, что правда. Ужас какой.

– Клава! – снова загрохотала трость. – Кла-а-вка!

– К Нюрке, к Нюрке идите, третья хага по прямой. Там найдете, она коз держит.

Коз у бабы Нюры было целых одиннадцать, а двенадцатым – козел по кличке Мурза, смолисто-черный, с длинной бородой и массивными рогами, он был бодуч, громогласен и умен. С завидной регулярностью Мурза, избавившись от привязи, пускался в вояжи по селу, разгоня ленивых кур, сонных дворовых собак и серых шаповаловских гусей. Бабка его ловила, стегала хворостиной, извинялась перед соседями, грозила по осени прирезать окаянного, но всякий раз, когда доходило до дела, отступала.

Сегодня с утра Мурза снова перегрыз веревку и тихонько, крадучись, пробрался в палисадник, где принялся деловито обрывать темные бубинки невызревших помидоров. Есть он их не ел, раскусывал да сплевывал на грядку, то и дело косясь в окно темным, бесовским взглядом – увидит бабка или нет.

Увидела. Вылетела как была, простоволосая, босая, но с кочергой в руке, заорала, заставив козла упасть на колени, швырнула кочергою, но не попала. Мурза с радостным блеянием скакнул вбок, ломая хрупкие кустики.

– Ах ты, ирод! Фашист! Сегодня же Макара кликну! – Бабка погрозила кулаком. – Пусть режет, пусть он тебя...

Может, тут бы и настал конец недолгой жизни Мурзы, потому как из-за потоптанных помидоров бабка была очень зла, но свершиться приговору помешали обстоятельства. Скрипнула калитка, отвлекая внимание Мурзы, и раздалось вопросительное:

– Можно?

Мурза, привстав на задние ноги, выглянул во двор.

– Вылазь, ирод! – чуть тише крикнула бабка Нюра, разглядывая гостей. Сразу определила, что не из местных, дачницы, вон как вырядились. Одна, ну чисто пигалица, но в юбке длинной да со шляпою, прямо-таки дама, вторая вроде и постарше, но в штанцах коротеньких да блузке, на животе узлом завязанной. Стыдобища.

А козел – ну чисто фашист – вернулся к прерванному занятию. Теперь он, ухвативши за верхние веточки, тормозил кусты, тянул вверх, выдирая с корнями. И ладно бы те, которые попроще, выбрал, нет же, до самых дорогих долез.

– Здравствуйте, – сказала та, которая помоложе. – А вы баба Нюра будете?

– Анна Ефимовна, – веско ответила баба Нюра, походя прикидывая, как бы козла с огорода выпереть, чтоб он последние, оставшиеся целыми кусты не поизуродовал.

– Анна Ефимовна, а нас к вам Клава, которая в магазине работает, отправила, она сказала, что вы поможете...

Мурза, выгавив очередной куст, покосился на гостей, мекнул, затряс бородой, выгнул шею, наставляя рога на забор, и принялся рыть копытами землю. Потом с места сорвался в бег и, доскакав до забора, грохнул рогами о доски.

– Ой! Козочка, – радостно охнула пигалица. – А погладить можно? Не укусит?

Кусаться козел не кусался, но и гладить себя не позволил. Поднявшись на задние ноги, он снова с размаху ударил рогами о штакетины.

– Лови! Лови его! – завопила бабка Нюра. – Хватай за роги!

К счастью, дачница не растерялась: сунув руки в просветы, ловко ухватила Мурзу за рога и, хотя тот попытался выкрутиться, держала крепко. Спросила только:

– А ему не больно?

От обиды и в предчувствии скорой расправы козел обиженно заревел. Минут через десять, после того, как совместными усилиями Мурза был водворен в сарай, в маленькой кухоньке закипала вода в кастрюльке, а баба Нюра сыпала в заварочный чайник тонкие вишневые веточки, листья смородины, цветы липы да чабреца.

– Так оно полезней, – пояснила она, кидая щепотку чего-то легкого, похожего на золотистый пух. Ксюха потянула носом, принюхиваясь, и Ольга с нею. Пахло хорошо, приятно, да и в хате было чисто да уютно. Висели на стенах иконки, убранные рушниками, рядом с ними отрывной календарь, судя по которому на дворе было двадцатое апреля тысяча девятьсот девяносто пятого года, были тут и фотографии, и тарелочки с котятками, посаженные на клей.

На застланном чистой клеенкой столе стояли несколько мисок, прикрытых кусками ткани, в углу, на табурете, – тазик, в котором плавился сахар, пропитываясь лиловым соком черной смородины, рядом, в ведре, ждали своего срока вишни.

– Так чего пришли-то? – Баба Нюра успела накинуть поверх платья вязаную кофту, а на голову платок повязала, так-то оно теплее, а то ж хоть хатка своя, но сквозняки гуляют.

– Теть Нюра, – залопотала младшая, Оксана, – тут такое дело... мы вчера к озеру гулять ходили. Ну вечер такой был классный, что прям дома никак, а еще вышли, слышим – поет.

– Кто поет?

– Не разобрали, – ответила старшая. – Голос женский.

– Ага, женский, точно, а слов не понять. И туман, вчера ведь туман такой был, прям хоть руками черпай, мы посмотреть хотели, кто это так поет, у меня мама певица и продюсер тоже, и если кто из местных, то я бы прослушивание устроить могла. Это ж голос-то какой!

– А то, – согласилась баба Нюра. – У ихнего племени завсегда голоса знатные.

И еще порешила про себя, что не станет Мурзу резать, хоть и скотина, но черный козел против водяниц – самая наипервейшая защита. А что помидоры... ну их, все одно каждый год туманы губили.

И пошла с той поры у Микитки жизнь, вроде и старая – Фимка орет, будит чуть свет, работы дает еле управиться – а вроде и новая: все у Микитки теперь спорится, все ладится, в руках горит, да и не злится он на Фимку, потому как ни она, ни Нюрка, ни Егорка, никто из людей вообще знать не знает о Микиткином секрете, о том, что не простой он человек, а колдун, ведьмак.

Чуял силу Микитка; день ото дня, как крест снял, росла она, крепла, пробивалась лиловым первоцветом, тянулась к солнышку, отражалась в людях, обнажая сокровище.

Кряхтит, стонет Фимка, ведро к свиньям волоча, за спину держится, а там, Микиткиному глазу открытый, темный клубочек засел, прорастает в розовое мясо, в косточки да кровь, мучит, крутит Фимку. И знает Микитка – захоти он, сумеет клубочек убрать. Только не хочется вовсе, пусть помучится, пусть вспомнит, как сироту забижала.

А вот Нюрка, как на сенокос выехали, стала, опершись на грабли, дышит тяжело – в грудях у нее черным-черно, давит, мешая сердцу стучать, кровь по жилам гонять, того и гляди задавит совсем. Но Нюрка не злая, Нюрка тишком то молока, то хлеба краюху приносила, оттого и помог Микитка: ночью, как спать легла, прокрался да поводит руками по-над грудью и сказал тишком:

– Кыш!

И ушла чернота, испугалась Микитки.

Еще на Егорку почесуху напустил, нечего завираться. А Малашке сделал так, что хромать перестала.

Всем по справедливости.

Первое же серьезное дело случилось много после Микиткиной болезни, про нее-то, по правде говоря, и забыли все. Да и то: лето разгорелось, понеслось жарой, разлилось сенокосами да жатвой, работой от света до света, да и впотьмах было чем заняться. Летали серпы, срезая сухие стебли пшеницы, вилась песня, пугая жаворонков, лился на землю горячий пот. И принимала она, и платила за то живым, тяжелым золотом. Все собирали, до последнего колоска, по зернышку, коли выпало, выгребая из пыли, расцарапывая руки жесткою травой, кляня и мечтая о том, чтоб поскорей все кончилось.

Кончилось. Вытянулись по полю ровные холмики снопов. Собирали, грузили, перевозили в амбар, чтоб сунуть под злые удары цепа. А там дальше – собрать, просеять, отделить, что получше – в особый ларь, на сев пойдет, вернется в отдохнувшую за зиму землю, иное – на мельницу, под жернова, в белый мучнистый порошок или в мешки, что на ярмарку, на торг назначены.

После к зерну для ярмарки добавились кадки с крупными желтыми яблоками, мочеными Фимкой по особому рецепту, каковой она даже от Нюрки в тайне держала, косы лука да чесноку, бочонок грибов соленых, сушеной черники решето, круглые сыры, несколько корзин с рыжими яйцами, аккуратно уложенных в мягкой соломе. Медленно копилось добро, заполняя особый угол в дядькином амбаре.

А потом лето отгорело, отошло, усталое, место осени уступив. Но и та не торопилась с дождями, милостиво позволяя добрать, досушить, спрятать, укрыть... зиму все сгодится, все в радость будет.

Но не с этой привычной, в общем-то, работой были связаны перемены в Микиткиной жизни, а с ярмаркой. Он и не чаял, что возьмут, и оттого заранее завидовал Егорке: тот уже который день кряду только про нее и говорил. А тут дядька возьми и скажи:

– Поедет. Будет мне с торгом помогать.

Вот радости-то было! И даже Фимкино ворчание ее не испоганило.

– Сивка только почисти, – буркнул дядька, усмехаясь в усы. Он не злой и не вредный, только внутри его чернота сидит да к зубам тянется, ну так Микитка прогонит, Микитка справедливый.

Сивка он вычистил, гриву косицами заплел, перевязал шерстяной нитью, чтоб красиво было, бубенчики на сбруе натер, а от Егоркиной помощи – любопытно тому стало – отказался. И потом, когда телегу грузили, держался возле дядьки, помогая.

– Не надорвись, – сказал тот. – А то в чем только душа держится. Что, Фимка, кусок хлеба сироте жалеешь?

Ох и полыхнула та пламенем, снаружи – красным, лицо затопившим, а изнутри, там, где только Микитке видно, – желтым, злым, ненавидящим.

– Смотри у меня, – погрозил дядька, тяжело на телегу взбираясь. Уселся на передки, хлопнул широкою ладонью по лавке и велел: – Сюда иди, править будешь.

Микитку и уговаривать не надо, ласточкой взлетел, только на Егорку оглянулся, язык показал – небось сам на место это виды имел, а не вышло.

Пока усаживались все, Микитка прям извелся, все боялся, что передумает дядька, что посадит рядом с собою внука, а Микитку в конец телеги отправит, там, где ерзали, устраниваясь на мешках с пшеницей и овсом, Фимка с Нюркой. Обе в праздничном, на Фимке – синий сарафан, белой ниткой шитый, на Нюрке – желтый, богатый, с янтарными капельками по вороту. И собой помолодела она, не скажешь, что вдовица...

– Н-но! – Дядька присвистнул, и Сивка тронулся с места. – Э-эх, поедьма...

Поехали. И ехали долго, до того, что Микитка устал и конем править – дядька слово сдержал, как вышли на тракт, так вожжи и передал, – и просто сидеть, на дорогу и людей глядя, и даже задремал под вечер. На следующий день, когда дядька Егорку с собою посадил, ни капли не жалел и не завидовал.

Широко раскинулась ярмарка, разлилась гомоном людским, толковищем, затоптала последнюю зелень многими ногами, копытами, колесами; поднялась к небу дымами да головами. Кричали зазывалы, верещала детвора, вокруг столба масленого прыгая, ободряя молодца, каковой сапоги с верхушки снять норовил, ревела скотина, на продажу привезенная, терзали струны бродячие музыканты, орали цыгане, медведя подбадривая.

Ох и интересно вокруг все, только успевай поворачиваться. Там вон разложил, раскатал по лавке ткани

купчина бородатый, сам в сторонке стоит, а помощники суетятся, торгуются, меряют да режут. А вон рядышком железо всякое, что ножи, что серпы, что гвозди, и дед при них, белобород да широкоплеч. Далее чуть крутится колесо точильное, ремень натягивая, а по нему елозит нож, шипит да плещет искрами...

– Пирог! Пирог кому! – выскочил под самые копыта Сивка мальчонка вихрастый в нарядной красной рубахе. – И с зайчатиной, и с гусятиной, и с грибами, и с потрохами...

Замахнулся дядька было, но не стеганул, опустил прут, засмеялся, полез в кошель да и купил всем по пирогу. И Микитке тоже.

Пока место выбирали, пока становились, пока Сивка выпрягали – много времени прошло, насмотрелся на ярмарку Микитка, устал даже. Но виду не подал, сел с дядькой торговать. Поначалу горло драл, да голос его писклявый тонул в окрестном шуме. Тогда придумал иначе делать. Посмотрит взглядом своим иным, приметит человечка какого да к себе манит. А тот и идет. И покупает, не торгуясь.

Быстро выходило, дядька, знай себе дивится, каков народ сговорчивый пошел да каков у него товар ладный, что ничего прям не залеживается.

На второй день и вовсе расторговались. На телеге пусто, в кошеле дядькином деньга позвякивает, а ярмарка вокруг все рядится, трясет платками расписными, манит бусами, дразнит пирогами, бубликами да пряниками, зовет на многие голоса то на бабу бородатую поглядеть, то на птицу о четырех головах, каковую кура из змей-горынычева яйца высидела, то на иные забавы.

Да все не задаром, везде копеечка нужна... и смотрят Микитка с Егоркой на дядьку, и просят, и зовут в два голоса, а тот знай себе хмурится, губами шевелит, о своем думая.

– Нет, – сказал он наконец. – Раз уж так расторговались хорошо, то надо коня купить. Старый Сивка совсем, а ну как падет по зиме, что тогда?

И верно вроде говорит, а все обидно.

– Пойдем, – говорит дядька. – Выбрать поможете.

Сразу обида и исчезла. Раз зовет, значит, доверяет. И то дело, коня выбирать – не пряник, дело серьезное, ответственное. Расправил Микитка плечи, подтянул Егорка живот да нос к небу задрал. И за порты обеими руками вцепился, держит, чтоб не съезжали.

Сначала к купцу-барышнику пошли, поглазеть. А там всяких: и вороных да караковых заморских, широкогрудых, крупнотелых, и соловых да белых аргамаков с ногами тонкими

да гривами шелковыми, гнедых упряжных, мышастых пристяжных, хочешь пару в масть, хочешь тройку в сани, хочешь четверик в карету...

Нет, не по карману такие, дальше пошли, туда, где попроще да поплоче. Целый день ходили, выбирали, примерялись, торговались. Дядька кричал, скрипел, да все никак решиться не мог.

– Дяденька, дяденька, а пойдем, я покажу, где кони хорошие, – чернявый паренек, вынырнув из толпы, вцепился в рукав. – И недорого.

Закатил глаза, языком причмокнул, добавляя:

– Ой и ладные, ой и славные, а по деньгам – так задарма почти.

Нельзя было идти с цыганенком, но то ли дядька совсем разум потерявши, то ли Микитка за день притомился, но позволили себя увлечь. А чернявый знай говорит да нахваливает, что и молодые, и крепки, и послушны, и к плугу приучены... золото, а не кони.

– Смотри, сам смотри! – Цыганенка сменил цыган. Кучерявый, с сединой в волосах, в рубахе красной, в портах полосатых, в сапогах начищенных до блеску, с зубом золотым и другим черным, сгнившим, он вел на поводу коня. Хорошего. Не высок и не низок, в груди широк, ногами крепок, бока круглые, шерсть лоснится, сияет, хвост до земли стелется, грива в косицы заплетена.

– Хороший конь! – твердят цыгане хором. Микитке и Егорке по петуху сахарному на палочке сунули, в бубны ударили, цыганки закрутились, пыль да юбки подымая, мельтеша разноцветьем.

– Ой, хороший!

Дядька коня гладит, в глаза смотрит, в рот пальцами лезет, зубы проверяет.

– Чудо, а не конь! – Звенят бусы да браслеты. – Недорого!

И вправду цену назвали не то чтоб низкую, но и не высокую. А конь приплясывает, гривой трясет, всхрапывает да на дядьку косится. Стал тот с цыганом торговаться, видать, решил купить.

Тут Микитка возьми и глянь на коня другим глазом, и видит: старый конь, хребет провис, зубы сгнили, глаза ослепли, а шерсть лишаи повыели.

– Хороший, хороший...

– Плохой! – Микитка вцепился в дядькину руку, к кошельку уже потянувшись. – Не покупай, дяденька, коня, не надо! Плохой он! Больной он! Издохнет!

Почернел цыган лицом, замолчали цыганки, а потом в один голос, Микитку перекрикая, снова завели:

– Ой, хороший, хороший... ладный, славный...

– Плохой!

Испугался Микитка, что купит дядька коня, и сделал что-то, а то и сам не понял, только исчез вдруг конь прежний, который всем хорош был, и появился другой, старый да хромым, с хвостом из мочала, ребрами, сквозь шкуру выпирающими, глазами в гною да копытами потресканными. Как увидал дядька страх этакий, сразу Микитку за одну руку, Егорку за другую и бегом из табора. А цыгане-то следом не бегут, замерли, застыли. Старуха одна, как Микитка краешком глаза заметил, пальцем погрозила, и то не ему, а цыгану черному.

А утречком, спозаранку, пришли цыгане к возу дядькиному, ажно трое: тот, что коня продавал, старуха давешняя, в семь юбок да семь платков драных закрученная, и совсем еще мальчонка, виду, правда, не цыганистого – светлый, конопатый, синеглазенький.

– Чего вам? – Дядька боится, но виду не кажет. Положил руки на пояс, плечи расправил, живот выпятил, грозно смотрится.

– Доброго дня тебе, – поздоровался цыган и шапку с головы стянул, поклонился. Кинул на Микитку взгляд скорый, ухмыльнулся, зубом золотым блеснул. – Есть к тебе, уважаемый, дело одно. Важное дело...

- Коня, что ль, продать хочешь?
- Продавал я вчера, а сегодня купить желаю.
- Так нечего, расторгвался я...

Старуха закивала. Ох и страшна: нос крючком, на нем бородавка, а из той – три волосины седых, губа нижняя обвисла, и зубы желтые видать, тонкие да длинные, точно штакетины в заборе.

– А мне не тот товар нужен, который ты вез, а тот, который сам с тобой ехал. Хорош у тебя мальчонка. Внук?

– Племянник. – Дядька оглянулся на Микитку, подав знак, чтоб из телеги не высовывался. А там уже Фимка с Нюркой шеи тянут, выглядывают, любопытственно им.

– Отдай мальчонку, – попросил цыган и своего, белого, вперед выставил. – Этого возьми. Хороший. Работающий и тихий. А хочешь, коня приведу.

– Вчерашнего?

– Знал бы, что с тобой будет тот, кому скрытое ведомо, не пытался бы обмануть.

Хорошего приведу.

Ахнула Нюрка, охнула Фимка, Егорку к животу прижимая, а дядька только головой покачал:

– Не по-божески это, кровь родную продавать.

– Так кровь твоя, – возразил цыган, во весь рот ухмыляясь, – от Бога отеклась. Где твой крестик, а?

И в Микитку взглядом вперился.

– П-потерял...

– Врешь! Сам снял, дар свой почуяв. Но я не ругаю, мальчик, каждому свой путь. Тебе – с нами. Пойдем.

– Не хочу!

– Что тебя с ними ждет? Работа до кровавого пота? На чужой дом, на чужое богатство? Думаешь, тебе с него хоть копеечка достанется? Нет, все законному наследнику отойдет. А тебя, как подрастешь, либо за порог выставят, свою долю добывать, либо в солдаты запишут. Пойдем, мальчик. У нас жизнь вольная, куда дорога несет, туда и кибитка катится. Сыном мне будешь, матери моей внуком любимым, есть досыта, спать вдоволь...

– Замолчи! – рассвирепел дядька, двинулся было на цыгана, да только замер, и видит Микитка, что ни рукой, ни ногой не в силах он шелохнуть – сковали пути неведомые, неведомые, старухою наложенные.

– Идем с нами, мальчик, – проскрипела она, руку протягивая. – Не там судьба твоя. В силе ты большой, а ей знание нужно. Учить тебя стану.

А может, вправду пойти? Он же сам хотел в колдуны, цыганка научит – тут без обмана, знает, что Микитке вранье любое как на ладони, оттого и правду говорит.

Завыла в голос Нюрка, заскулила Фимка, в слезы Егорка ударился, а дядька только кряхтит, большего ему пока не разрешено. Крепко задумался Микитка, почти уже было решился, как Егорка возьми и скажи:

– Не уходи!

И то правда. Как их бросить-то? А что цыгане, чему научат? Как больного коня здоровым представить? Как карты раскинуть? Как честному человеку голову задурить? Нет, не по Микитке такая наука, не пойдет он, пусть бы и горы золотые сулили. Хоть и снял крестик нательный, но в Бога верит, и в Богоматерь, и в то, что ни матушка, ни папка, ни младшенький, каковы на облаках Микитку дожидаются, не одобрили бы.

– Нет, не пойду я. Не моя дорога.

Испугался, что снова уговаривать начнут, но цыган вздохнул только, а старуха возьми и ответь:

– Жалеешь их? Смотри, час придет, от них жалости не увидишь. Отличен ты, бояться станут, со страху многого натворят. Дай-ка, красавица, руку..

Нюрка протянула дрожащую ладонь.

– Муж у тебя был, да ушел, и сыночков двух с собой забрал, и дочку.. – ходит заскорузлый палец, царапает кожу, читает линии, Богом вычерченные. И ведь правду говорит старуха, был у Нюрки муж, Фимкин да дядькин сын, и жили хорошо, и детей четверо, но пришла в дом моровая, всех с собою увела, сделала Нюрку вдовицей, а Микитку – сиротой.

– Смотри, красавица, беду вижу, горе черное, горе страшное... – продолжает цыганка, уже не пальцем – носом по руке Нюркиной елозя. – Хоронить тебе сына поперед себя. Скоро, скоро уйдет... пусть воды бережется да зимы стережется.

Заголосила Нюрка, а старуха знай за руку держит, не отпускает.

– Будешь, будешь виноватых искать... не найдешь... будешь цветом пустым, хоть и возьмут тебя замуж... будет муж твой дочери его отцом, а жене – мужем. Будет слушать слова твои да кровь лить...

– Убирайся, старая! – заорал дядька.

– А тебе, добрый человек, вот чего скажу: жить тебе до волос седых и головы белой, жить тебе богато, жить тебе несчастно...

Отошла цыганка от телеги, плат драный на волосы седые накинула да, в Микитку пальцем ткнув, договорила:

– Ты верно угадал, не твоя с нами дорога, но та, которая твоя, лучше б ее и не было. Сильным быть не сдюжишь, во слабости чужую вину возьмешь да крови пролитой попустительствовать станешь. А еще обманом жить, тем, чего и не было никогда. Бывай.

И сгнули.

Весело ехали на ярмарку, тяжело возвращались. Забрался Микитка в самый дальний угол телеги, мешок на солому постелил, свернулся калачиком да думал все про слова цыганки. Наврала ли? Нет, правду говорила, но вот как понять ее?

– Отдать надо было, отдать, – шипела Фимка, наклоняясь к самому мужнину уху. Говорит да на Микитку озирается – слышит ли, понимает ли. А он и слышит, и понимает, но виду не кажет, наоборот, глаза закрыл, мешок натянул, будто бы притомился, спит.

– Бесово семя, дикое племя... братец твой со знахаркиной дочкой связался, в дом бесприданную взял, под венец повел, а она, может, и вовсе некрещеная была.

Скрипит телега, грукуют копыта по мощеной дороге, орут вороны, льется в уши злой Фимкин шепот:

– Выродила на нашу погибель. Слышал, слышал, что сказано? Погубит он Егороньку, сглазом в могилу сведет!

А Егорка про сказанное и забыл давно, перевесился через борт телеги да собак дразнит, язык показывает, Нюрка же рядышком с сыном сидит, ни жива ни мертва, бела, точно полотно, лицом, а внутри у нее – черным-черно.

– Позарится на дом твой, на хозяйство. Сам-то босота да голь перекатная, Егороньке все отойдет...

– Замолчи, – велел дядька. – Племянник он. Кровь не вода.

Вода в озере плещется, манит зеленью да серебром живым, рыбьим. Стелются по дну ковры мягкие, ловят свет раковины жемчужные, скатывая его камнями драгоценными, и сидит на лавочке резной, узорчатой дева водяная. Чешет косы гребнем резным да, о Микитке вспоминая, печалится.

– Не забыл я! – хочется сказать ему, а не выходит, засели слова внутри занозой, не достать, не избавиться.

– Яков... Яков Брюс, – шевелятся губы водяницы.

– Яков Брюс...

– Что ты там бормочешь, ирод! – раздалось рядом и, в ухо вцепившись, потянуло вверх, выкручивая, выбивая злую слезу. – Крест снял? Безбожник!

Гневается дядька, лицом красен, дышит тяжело, трясется весь, будто с лихоманки, и Микиткино ухо, знай себе, крутит.

– Кто тебя свел? Малашка? А ну говори!

А в руке его – вожжи, ну точно выпорет, вон Фимка уже порты стягивает, скалитесь зло.

– Я с тебя дурь эту да повыбиваю, – грозит дядька. Микитку толкнул, да не глядя, вожжами. Больно! – Я с тебя сделаю человека... с цыганами спутался! Вор!

Кто вор? Микитка? Да разве ж он когда-нибудь... да чтоб без спросу... да он же как лучше хотел! Чтоб дядька коня плохого не покупал! И Нюрке помог!

– Пусти-и-и! – взвыл Микитка, вывернувшись пытаясь, и вожжу перехватил. И тут от обиды да боли нашла на него злость такая, что словами и не рассказать. И силы появились, выдернул вожжу из рук дядькиных да, глазами в глаза уставившись, сказал: – Пусти, а то хуже будет.

Нет, не собирался он зла творить, а дядька сразу поверил, отшатнулся, крестясь, да пробормотал невнятное. И Фимка отскочила, взвизгнув. На том все и закончилось.

На третий день по возвращении попа пригласили, толстого, волохатого да бородастого. Пахло от него квашеной капустой и больным, сопрым телом. Поп кряхтел, стонал, но молитвы читал красиво, густым, колокольным басом. Хату трижды освятил, а с Микиткою беседу имел, все выспросить пытался, когда это Микитка от Бога отречься решил. Пеклом пугал, чертями рогатыми и вилами острыми, муками вечными, адовыми, про небесную благодать сказывал, про смирение, с которым каждому человеку долю свою принимать надобно. Микитка слушал, кивал и молитвы все, каковы батюшка поставил прочесть, прочел перед иконою, и по несколько раз. Только вот... прежде-то помолишься и легчает внутри, а теперь идут слова, летят к иконе, а оттуда на тебя не лик Богородицы, а будто бы морда чья-то, кривая, косо намалеванная и светом лучины скаженная. Страшная – как глянуть.

Нет, не было с тех молитв Микитке спасения, расстройство одно. А еще в доме к нему переменились, работы не дают, хоть кормить – кормят, даже лучше прежнего, а держатся все одно в сторонке. Только Малашка прежняя и осталась – улыбчивая, добрая, ласковая.

Ну и Егорка. Ему сколько мамка ни сказывала, сколько страхами разными ни пугала – он только больше к Микитке тянется. Сначала про силу выспрашивал, потом про деву озерную, где живет, да какова из себя, да что за узоры у нее на гребне, и нет ли перстенька волшебного, с которым и звериный, и птичий язык разумеешь будешь. Микитка сказывал, сначала сухо, нехотя, а потом и сам разохотился и даже приврал немного...

Так все и шло до самой Егоркиной болезни.

Антон Антонович Шукшин с тоской глядел в окно, думая о том, что отпуск, который по плану должен был начаться с понедельника, теперь откладывается на неопределенный срок: кто его в отпуск пустит с нераскрытым делом-то? А значит, Ленка, настроившаяся было махнуть на юга, разобидится, а с нею и Евдокия Павловна, дражайшая теща, которая, правда, на юга не собиралась, но серьезно рассчитывала на Антонову помощь в ремонте квартиры...

И будут слезы, ссоры, скандалы, уход из дому с демонстративным хлопаньем дверью, звонки от «мамы», сдавленные всхлипы и чувство вины, привычное и постепенно перерас-

тающее в злость. А все из-за чего? Из-за каких-то алкоголиков и маргиналов, не имевших совести погодить с убийством хотя б на недельку-другую...

Нет, убиенному Антон Антоныч сочувствовал и вдове его, женщине серьезной, с характером, заявившейся прям поутру, соболезнования принес, но ведь этим-то не завершится, ей-то не соболезнования, а ответ нужен. И суд, и приговор, который, конечно, супруга не вернет, но позволит ощутить, что в мире таки есть справедливость.

С ответом у Антона Антоныча было худо. Если по первости он это дело всерьез не воспринял, списав все на бытовуху да разборки среди местных пьяниц, то впоследствии от версии этой отказался. Слишком уж странно все было.

Взять хотя бы личность потерпевшего. Григорий Иванович Кушаков, тридцати восьми лет от роду, женат, отец троих детей, старшему из которых четырнадцать, младшему – четыре. Несудим. Вот и все. Ну еще по словам жены да соседей выходило, что человеком Григорий Иванович был самым обыкновенным, добродушным, не скандальным, трусоватым, в меру пьющим, в общем, ничем-то особым не примечательным. Кому понадобилось такого убивать? Ладно бы и вправду по пьяни, когда голова не соображает, кровь хмелем горит, а руки сами за нож хватаются, так нет же.

Картина с места преступления вырисовывалась престранная. Выходило, что весьма долгое время убиенный провел в зарослях малинника, где обнаружили и следы на покрывале, и примятые, поломанные кусты, и нитки, с одежды выдранные, и окурки. Но тут понятно – с женою поругался, вот и отсиживался. Только зачем он после этого к озеру пошел? Заблудился в тумане? Так местный же, должен был спинным мозгом чують, в какую сторону дом. Да и не просто до озера Гришка Кушаков дошел – купаться полез, вон, полные сапоги воды, с тиною, ряскою да с толстым, забившимся за голенище листом кувшинки, а они от берега метрах в пяти начинаются.

Выходило, что покойный имел явное намерение свести счеты с жизнью, а потом передумал, развернулся и пошел, но не домой, а к дачам, где его и настиг убийца. А Антону Антонычу думай теперь, то ли обознался нападающий, ждал не Гришку, а еще кого-то, то ли наоборот, убрал кого надо, за жертвою следил, а потому искать надобно среди знакомых Кушакова.

И орудие-то какое выбрал: не нож, не веревку, не камень даже, а поленце березовое, длинненькое, аккурат такое, чтоб за дубину сойти. Конечно, поленцу Антон Антоныч даже обрадовался, велел подворья прошерстить, поглядеть, у кого сходные валяются, да без толку оказалось – на окраине Погарья не так давно три березы бурей повалило, вот их местные мужики на дрова и попилили, и теперь березовых полешек в каждом втором дворе полно.

В общем, грустным виделось Антону Антонычу и дело это, и собственное ближайшее будущее, и вообще жизнь. Оттого и сидел он, в окно глядя, пытаясь извлечь из головы какую-никакую здравую мыслишку, перебирал бумаги да шепотом готовил оправдательную речь, дабы нынче же вечером произнести оную перед супругой.

Скрипнула дверь, приотворяясь, легонько постучали по косяку, и в щель бочком просунулась бабка.

– А я от к вам, по делу, – сказала она, подходя к столу. – Можно?

– Можно, – разрешил Шукшин, разглядывая гостью. Была она в красном шифоновом платье с крупными черными пуговицами да рюшами по воротнику, в растоптанных красных ботинках да красном же платке, лихо повязанном на манер банданы. На шее висели бусы, на груди – орден Трудового Красного Знамени.

– Анна Ефимовна, – представилась бабка, усаживаясь на стул. – Я из Погарья, по делу, про убийство которое. Тут, стало быть, такое, что я-то знаю, кто его, но вы ж не поверите.

Шукшин подобрался: неужели повезло? Да быть такого не может, не тот он человек, которого везучим называют, скорее уж наоборот. Но бабка имела вид человека серьезного. А ну как и вправду знает что-то?

– Я комсомолка. Коммунистка. И грамоты имею. И награды, – пощупала орден, проверяя, на месте ли. – И не в маразме еще.

Начало не вдохновляло. С чего это она так?

– Это к тому, чтоб не говорили, будто Анна Ефимовна на старости лет совсем разум потеряла. Не волнуйтесь, не потеряла, я еще поразумней некоторых буду. Но только дело такое... в общем, Гришку не человек убил.

Она перешла на громкий шепот и глаза выпучила.

– А кто? – также шепотом спросил Антон Антоныч.

– Водяница.

– Кто?

– Ну водяница, русалка, стало быть, – раздраженно повторила бабка. – Опять зашевелилась, покою ей нету. Людей мутит, к себе манит, бывает, кого и отпустит, если попросить и при настроении, а так-то, если попался, пиши пропало.

– Погодите. – Шукшин жестом оборвал поток речи. – То есть вы хотите сказать, что Кушакова убила русалка?

– А кто ж еще? Остальным-то Гришка без надобности, дурень и балабол, а ее, может, и обидел. Он ведь ходил к озеру, верно?

– Ну ходил.

– И туман в ту ночь подымался? Я еще подумала, с чего б ему быть, когда деньки ясные, где ж это видано, чтоб на ясной погоде туманы стлались? Это она намутила. И дачницы песню слышали.

– Какую песню? – Антон Антоныч с тоской подумал, что все ж таки с везеньем у него дело обстоит туго и пользы от бабкиного визита никакой. Русалки... это как он в деле-то напишет? Подозреваемое лицо – русалка, она же водяница, читай мифологический словарь?

– Так и знала, что не поверите. А глядите, смерть-то первая, да не последняя, наплачтесь еще... – Свидетельница поднялась с явным намерением покинуть кабинет, когда Шукшин, сам удивляясь тому, что собирается сделать, сказал:

– Погодите. Расскажите-ка поподробнее, если вам несложно.

И улыбнулся. Хотя, по выражению его драгоценной тещи, улыбка ему совершенно не шла, но на Анну Ефимовну подействовала. Та мигом подобрела, вернулась на стул и, взгромоздивши локти на стол, принялась рассказывать.

– По-моему, бабка чокнутая. – Ксюха забралась в гамак и поставила на живот миску с вишней. Косточки она собирала в кулак, а потом – в кружку. – Русалка... в этой луже и русалка?

В кои-то веки Ольга согласилась с племянницей. Ну конечно, чушь, русалок не существует, это она знала совершенно точно. Но вот завелся внутри червячок, нет, не сомнения, скорее уж исследовательского зуда, который мешал просто валяться на солнышке, читать книгу и перебрасываться с Ксюхой ничего не значащими фразами. И в конце концов, Ольга не выдержала, поднялась и велела:

– Пойдем.

– Куда? – спросила Ксюха, выбираясь из гамака.

– Искать.

Пусть в доме и не было библиотеки, зато имелся компьютер с выходом в Интернет.

– Под русалками понимают совокупность всех упоминаемых в фольклоре и в сообщениях очевидцев разнообразных человекоподобных существ или духов, ведущих водный

или полуводный образ жизни. Русалки могут внешне почти не отличаться от людей, а могут иметь в нижней части тела вместо ног плоский хвост, похожий на хвост рыбы, – прочитала Ксюха, нависая над Ольгиным плечом. – Восточнославянские русалки по преимуществу – женщины, западноевропейские – обычно женщины с рыбьими хвостами. Прикольно, а я думала, что они все с хвостами. А если без хвоста, то как понять, русалка она или просто купается? Вишни хочешь?

– Нет, спасибо. – Ольга разглядывала картинки, думая о том, что занимается глупостями, никаких русалок тут нет и быть не может, не существует их в природе, выдумки все, сказки.

Но, как оказалось, весьма и весьма разнообразные сказки. Оказывается, существовали русалки и полевые, именовавшиеся полуденицами, и древесные, и даже – вот ведь невидаль – огненные. Имелась неделя в году, когда русалки особую силу забирали, она так и называлась – русаличьей, а самый опасный день – четверг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.